

Джон Грин

Виноваты звезды

Посвящается Эстер Эрл

Поднимался прилив. Тюльпановый Голландец обернулся к океану:

— Разлучник, воссоединитель, отравитель, укрыватель, разоблачитель, набегает и отступает, унося все с собой!

— И что это? — спросила я.

— Вода, — ответил Голландец. — И время.

Питер ван Хутен. Царский недуг

От автора

Это не столько обращение, сколько напоминание о том, что роман является плодом художественного вымысла. Я его придумал.

Ни книги, ни читатели нисколько не выигрывают от попыток установить, легли ли в основу произведения реальные факты. Подобные попытки подрывают идею значимости выдуманных сюжетов, которую можно причислить к фундаментальным догмам нашего биологического вида.

Надеюсь на ваше сотрудничество.

Глава 1

В конце моей семнадцатой зимы мама решила, что у меня депрессия, потому что я редко выхожу из дома, много времени провожу в кровати, перечитывая одну и ту же книгу, мало ем и посвящаю избыток свободного времени мыслям о смерти.

Если вы читали буклет, сайт или статью, посвященную раку, вы знаете, что авторы называют депрессию одним из побочных эффектов онкологии. На самом деле депрессия не побочный эффект рака. Депрессия — побочный эффект умирания (рак тоже побочный эффект умирания. Да и вообще в эту категорию можно отнести практически все). Но мама решила отвести меня к лечащему врачу, доктору Джиму, который подтвердил, что я действительно погружена в парализующую, уже клиническую депрессию, поэтому нужно скорректировать принимаемые мною лекарства и обязать меня посещать еженедельные заседания группы поддержки.

Группа поддержки отличалась постоянной сменой состава участников, пребывавших в разных стадиях депрессии по поводу своей онкологии. Почему состав менялся? А это побочный эффект умирания.

Посещения группы поддержки угнетали хуже некуда. Собрания проходили по средам в подвале каменной епископальной церкви, фундамент которой имел форму креста. Мы садились в кружок посередине — там, где пересекались перекладины и находилось бы сердце Иисуса.

Я обратила на это внимание только потому, что Патрик, руководитель группы поддержки и единственный в комнате старше восемнадцати, заводил волюнку о Иисусовом сердце каждую чертову встречу — как мы, юные борцы с раком, сидим в самом сердце Христа, священное места не найти, и все такое.

А вот что происходило в сердце Иисусовом: вшестером, всемером или вдесятером мы входили или въезжали на инвалидных креслах, нехотя жевали каменное печенье, запивая лимонадом, садились в круг доверия и в тысячный раз слушали занудный рассказ Патрика о том, как у него случился рак яичек и все думали, что он умрет, но он не умер и теперь сидит перед нами в церковном подвале сто тридцать седьмого в списке лучших городов Америки, взрослый, разведенный, подсевший на видеоигры, без друзей, влачащий жалкое существование, эксплуатирующий свое онкорасчудесное прошлое, еле ползущий к получению диплома магистра, который никак не улучшит его карьерные перспективы, живущий, как все мы, под дамокловым мечом-избавителем, с которым разминулся много лет назад, когда рак отнял у него яйца, оставив то, что лишь самая сердобольная в мире душа назовет жизнью.

Вам тоже может так повезти!

Потом мы познакомились: имя, возраст, диагноз, настроение. «Меня зовут Хейзел, — представилась я, когда до меня дошла очередь. — Шестнадцать. Первичная локализация в щитовидке и старые, но внушительные метастазы в легких. Настроение — зашибись!»

Дав всем высказаться, Патрик всегда спрашивал, не хочет ли кто чем поделиться. И начиналась круговая мастурбация: каждый лепетал о борьбе и победе, потере веса и результатах сцинтиграфии.[1] Надо отдать Патрику должное: он позволял нам говорить и о смерти. Но большинство находились не в терминальной стадии и должны были дотянуть до совершеннолетия, как Патрик.

(Отсюда вытекает наличие нехилой конкуренции: каждый старается пережить не только рак, но и всех присутствующих. Пусть это иррационально, но когда тебе говорят, что у тебя, скажем, двадцать шансов из ста прожить пять лет, ты с помощью несложного математического перевода получаешь один из пяти, после чего оглядываешься и думаешь: мне надо пересидеть четырех из этих гадов.)

Единственной компенсирующей составляющей группы поддержки был пацан по имени Айзек, длиннолицый, тощий, с прямыми светлыми волосами, свисающими на один глаз.

Проблема у него была как раз с глазами. У Айзека была невероятно редкая форма рака. Один глаз ему удалили в детстве, и он носил толстые очки, в которых его глаза, настоящий и стеклянный, казались неестественно огромными, словно вся голова была фальшивым глазом, а настоящий глаз смотрел на вас. Насколько я поняла из нечастых визитов Айзека в группу поддержки, рецидив поставил под угрозу его последний оставшийся орган зрения.

Мы с Айзеком общались с помощью вздохов. Всякий раз, как кто-то обсуждал противораковые диеты или предавал остракизму вытяжки из акульих плавников, он смотрел на меня и тихонько вздыхал. Я едва заметно качала головой и вздыхала в ответ.

В общем, группа поддержки не помогла: через несколько недель я готова была отбиваться ногами, лишь бы туда не ездить. В ту среду, когда я познакомилась с Огастусом Уотерсом, я предприняла все возможное и невозможное, чтобы избежать поездки, пока мы с мамой

сидели на диване и смотрели третью серию марафона прошлого сезона «Новой топ-модели Америки», который я уже видела, но все равно смотрела.

Я: Я отказываюсь посещать группу поддержки.

Мама: Одним из симптомов депрессии является потеря интереса к различным занятиям.

Я: Ну давай я буду смотреть «Топ-модель Америки». Это тоже занятие.

Мама: Это пассивное занятие.

Я: Ну ма-ам, ну пожалуйста!

Мама: Хейзел, ты уже почти взрослая. Ты не маленький ребенок. Тебе нужно заводить друзей, выходить из дома, жить своей жизнью.

Я: Если ты хочешь, чтобы я вела себя как взрослая, не посылай меня в группу поддержки. Лучше достань мне фальшивое удостоверение личности, чтобы я могла ходить по клубам, пить водку и принимать гашиш.

Мама: Ну во-первых, гашиш не принимают...

Я: Вот видишь! Я бы это знала, будь у меня фальшивые документы!

М а м а: Ты поедешь в группу поддержки.

Я: А-а-а-а-а!

Мама: Хейзел, ты заслуживаешь жизни.

На это у меня возражений не нашлось, хотя я так и не поняла, как посещение группы можно привязать к понятию «жизнь». Но ехать согласилась, выторговав право записать полторы серии «Топ-модели», которые пропущу.

Я согласилась посещать группу поддержки по той же причине, по какой позволяла всяким медсестрам с полуторагодовичным образованием пичкать меня лекарствами с экзотическими названиями: ради родителей. Хуже, чем быть подростком с онкологией, есть только одно: быть ребенком с онкологией.

К заднему фасаду церкви мы подъехали без четырех минут пять. Несколько секунд я притворялась, что вожусь с кислородным баллоном — просто чтобы убить время.

— Помочь?

— Нет, спасибо, — сказала я.

Зеленый баллон весит всего несколько фунтов, плюс у меня есть стальная тележка, чтобы возить его за собой. Через канюлю из баллона в меня поступает два литра кислорода в минуту — прозрачная трубка раздваивается сзади у шеи, цепляется за уши и вновь соединяется под ноздрями. Хитрая трубка с баллоном необходима, потому что легкие ни фига не справляются со своей задачей.

— Я тебя люблю, — призналась мать, когда я вылезала из машины.

— Я тебя тоже. Подъезжай к шести.

— Заводи друзей, — напомнила мать через опущенное стекло, когда я шла к подвалу.

К лифту я не пошла: лифтом пользовались только те, кому осталось жить несколько дней. Спустившись по лестнице, я взяла печенье, налила себе лимонада в чашку «Дикси» и обернулась.

На меня смотрел парень.

Я его никогда не видела. Долговязый и худой, но не хилый, он скрючился на детском пластиковом стульчике. Короткие прямые темно-рыжие волосы. Мой ровесник или, может, на год старше, сидит на краешке стула в вызывающе неудобной позе, одна рука наполовину засунута в карман темных джинсов.

Я отвела глаза, сразу вспомнив о тысяче своих недостатков. Я в старых джинсах, которые прежде едва налезали, а теперь висят в самых неожиданных местах, и желтой футболке с рок-группой, которая мне уже не нравится. Волосы у меня подстрижены под пажа, и я не забочусь их расчесывать. Щеки у меня, не поверите, как у хомяка, — побочный эффект стероидов. В целом я выгляжу как человек нормального сложения с воздушным шаром вместо головы. Это я еще не вспоминаю о толстых икрах и щиколотках. И все же я украдкой посмотрела на незнакомца. Он по-прежнему не сводил с меня глаз.

До меня впервые дошел смысл выражения «встретиться взглядами».

Я села рядом с Айзеком, через два стула от новенького. Покосившись, я убедилась: все еще смотрит.

Ладно, скажу прямо: он был красавчик. Некрасивый пытается смотреть безжалостно, и выходит в лучшем случае неловко, а в худшем — как попытка оскорбить. Но красавчик... М-да.

Я вынула мобильный: без одной минуты пять. Постепенно кружок заполнился несчастными душами от двенадцати до восемнадцати, и Патрик затянул коротенькую молитву: «Боже, дай мне душевное равновесие принять то, что я не могу изменить, смелость изменить то, что в моих силах, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». Парень по-прежнему смотрел на меня. Я почувствовала, что краснею.

Вскоре я решила, что правильной стратегией будет пялиться в ответ. В конце концов, пацаны

не покупали монополию на пристальные взгляды. Я оглядела новенького с ног до головы, пока Патрик в тысячный раз признавался в своей безъязкости, и завязалось соревнование взглядов. Вскоре парень улыбнулся и отвел голубые глаза. Когда он снова посмотрел на меня, я подвигала бровями в знак того, что победа осталась за мной.

Он пожал плечами. Патрик продолжал свое. Настало время представиться.

— Айзек, может, ты сегодня начнешь? Я знаю, у тебя сейчас трудное время.

— Да, — согласился Айзек. — Меня зовут Айзек, мне семнадцать лет. Судя по всему, через две недели у меня будет операция, после которой я останусь слепым. Я не жалею, многим приходится и хуже, но, понимаете, слепота — это такое дерьмо... Меня поддерживает моя девушка. И друзья. Огастус вот, например. — Он кивнул на новенького, у которого теперь появилось имя. — Так что вот так, — продолжал Айзек, глядя на свои руки, сложенные домиком. — И вы тут ничем не поможете.

— Мы рядом, Айзек, — сказал Патрик. — Пусть Айзек услышит нас, ребята.

И мы все повторили:

— Мы рядом, Айзек.

Настала очередь Майкла. Ему двенадцать, и у него лейкемия. У него всегда была лейкемия, но он в порядке (так он сказал. Вообще-то он спустился на лифте).

Лиде шестнадцать, и уж на кого стоило заглядываться красавчику, так это на нее. Лида старожил группы поддержки, у нее длительная ремиссия аппендикулярного рака — оказывается, есть и такой. Она заявила, как заявляла на каждом собрании группы поддержки, что чувствует себя сильной. Мне, с кислородными трубочками в ноздрях, это показалось наглым хвастовством.

До новенького говорили еще пятеро. Он улыбнулся краешком губ, когда пришла его очередь. Голос у него оказался низкий, прокуренный и потрясающе сексуальный.



— Меня зовут Огастус Уотерс, — представился он. — Мне семнадцать. Полтора года назад у меня был несерьезный случай остеосаркомы, а здесь я сегодня по просьбе Айзека.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Патрик.

— О, прекрасно! — Огастус Уотерс улыбнулся одним уголком рта. — Я на поезде американских горок, который едет только вверх, друг мой.

Пришла моя очередь.

— Меня зовут Хейзел, мне шестнадцать лет. Рак щитовидки с метастазами в легких. Нормально, чё.

Заседание продолжалось бойко: бои были подсчитаны, битвы в заранее проигранных войнах выиграны, поцеплялись за надежду, поругали и похвалили родителей, согласились, что друзьям не понять серьезности проблемы. Слезы были пролиты, утешение предложено. Ни Огастус, ни я не произнесли ни слова, пока Патрик не сказал:

— Огастус, возможно, ты хочешь поделиться с группой своими страхами?

— Моими страхами?

— Да.

— Я боюсь забвения, — тут же ответил он. — Как слепой из пословицы, который боялся темноты.

— Ну, это ты поспешил, — улыбнулся Айзек.

— Черство сказано? — уточнил Огастус. — Я бываю слеп, как крот, к чувствам окружающих.

Айзек захохотал, но Патрик поднял вразумляющий перст и сказал:

— Огастус, пожалуйста, вернемся к тебе и твоей борьбе. Ты сказал, что боишься забвения?

— Сказал, — ответил Огастус.

Патрик растерялся.

— Не хочет ли кто, э-э, что-нибудь ответить на это?

Я не хожу в нормальную школу уже три года. Родители — два моих лучших друга. Третий лучший друг — автор, который не знает о моем существовании. Я очень замкнутая, не из тех, кто первым тянет руку.

Но на этот раз я вдруг решила высказаться. Я приподняла ладонь, и Патрик с нескрываемым удовольствием немедленно сказал:

— Хейзел!

Я, по его мнению, раскрывалась, становясь частью группы поддержки.

Я посмотрела на Огастуса Уотерса, глаза которого были такой синевы, что сквозь нее, казалось, можно что-то видеть.

— Придет время, — сказала я, — когда мы все умрем. Все. Придет время, когда не останется людей, помнящих, что кто-то вообще был и даже что-то делал. Не останется никого, помнящего об Аристотеле или Клеопатре, не говоря уже о тебе. Все, что мы сделали, построили, написали, придумали и открыли, будет забыто. Все это, — я обвела рукой

собравшихся, — исчезнет без следа. Может, это время придет скоро, может, до него еще миллионы лет, но даже если мы переживем коллапс Солнца, вечно человечество существовать не может. Было время до того, как живые организмы осознали свое существование, будет время и после нас. А если тебя беспокоит неизбежность забвения, предлагаю тебе игнорировать этот страх, как делают все остальные.

Я узнала об этом от вышеупомянутого третьего лучшего друга, Питера ван Хутена, писателя-отшельника, автора «Царского недуга», ставшего для меня второй Библией. Питер ван Хутен единственный а) понимал, что значит умирать, и б) еще не умер.

Когда я договорила, наступило долгое молчание. По лицу Огастуса расплылась улыбка — не миниатюрным хвостиком губ, как у флиртующего пацана, пялившегося на меня, а настоящая, слишком широкая для его лица.

— Черт, — тихо произнес Огастус. — Ну ты, блин, даешь.

Мы с ним молчали до конца заседания группы поддержки. В конце все, как было заведено, взяли за руки, и Патрик начал читать молитву.

— Господь наш Иисус Христос, мы, борющиеся с раком, собрались здесь, буквально в сердце твоём. Ты, и только ты один, знаешь нас, как мы знаем себя; проведи же нас к жизни и свету через времена испытаний. Молим тебя о глазах Айзека, о крови Майкла и Джейми, о костях Огастуса, о легких Хейзел, о горле Джеймса. Молим тебя исцелить нас, позволить ощутить твою любовь и твой Божий покой, превосходящие всякое понимание. В наших сердцах мы храним память о тех, кого знали и любили и кто вернулся к тебе в предвечный дом: Марию и Кейда, Джозефа и Хайли, Абигайль и Анд желину, Тейлора и Габриэль...

Список был длинным. В мире, знаете ли, очень много покойников. Пока Патрик зудел, читая имена по листочку, потому что список такой длины невозможно запомнить, я сидела с закрытыми глазами, пытаюсь настроиться на благочестивый лад, но невольно представляя тот день, когда и мое имя попадет в этот список, в самый конец, когда уже никто не слушает.

Когда Патрик закончил, мы повторили вместе дурацкую мантру — прожить сегодня как лучший день в жизни, и собрание закончилось. Огастус Уотерс, оттолкнувшись, встал со своего детского стула и подошел ко мне. Нога у него была кривовата, как и улыбка, — он прихрамывал.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Хейзел.

— Нет, полностью.

— Ну, Хейзел Грейс Ланкастер.

Огастус хотел что-то сказать, и тут подошел Айзек.

— Подожди, — попросил Огастус, подняв палец, и повернулся к Айзеку: — Слушай, это еще хуже, чем ты описывал.

— Я тебе говорил — тоска зеленая.

— Так чего ты сюда ходишь?

— Не знаю. Вроде помогает.

Огастус наклонился к нему и спросил, думая, что я не слышу:

— Она постоянно ходит? — Айзека я не расслышала, но Огастус ответил: — Надо думать. — На секунду он сжал Айзеку плечи и тут же отступил от него на полшага. — Расскажи Хейзел, что врач сказал.

Айзек оперся о стол с печеньем и навел на меня свой огромный глаз.

— Сегодня утром я ездил в клинику и сказал хирургу, что скорее умру, чем соглашусь жить

слепым. А он заметил, что это не мне выбирать. Я ответил: да, я понимаю, что судьбу выбираем не мы, я просто говорю, что скорее согласился бы умереть, чем жить слепым, будь у меня выбор, которого, как я понял, у меня нет. А он говорит: хорошая новость в том, что ты не умрешь. А я ему: спасибо, дядя, объяснил, что рак глаз меня не убьет. Ах, какое сказочное везение, что такой гигант мысли, как вы, снизойдет до проведения моей операции.

— Победа осталась за ним, — сказала я. — Надо будет тоже заболеть раком глаз, чтобы познакомиться с твоим хирургом.

— А-а, валяй. Ладно, мне пора. Моника ждет. Буду смотреть только на нее, пока еще могу.

— Карательные акции завтра? — спросил Огастус.

— Да. — Айзек повернулся и побежал вверх по лестнице, перескакивая через две ступеньки.

Огастус Уотерс повернулся ко мне.

— Буквально, — сказал он.

— Буквально? — не поняла я.

— Мы буквально в сердце Иисуса, — сказал он. — Я думал, мы в церковном подвале, а мы буквально в сердце Иисуса.

— Кто-то должен ему сказать, — хмыкнула я. — Это же опасно — держать в сердце больных раком детей.

— Я ему сам скажу, — пообещал Огастус. — Но к сожалению, я застрял у него в сердце, он меня не услышит.

Я засмеялась. Он покачал головой, глядя на меня.

— Что? — спросила я.

— Ничего, — ответил он.

— Почему ты на меня так смотришь?

Огастус чуть улыбнулся:

— Потому что ты красивая. Мне нравится смотреть на красивых людей. Некоторое время назад я решил не лишать себя простых радостей бытия. — Последовала короткая пауза, которую преодолел Огастус. — Особенно если учесть, как ты прелестно доказала, что все закончится забвением.

Я не то фыркнула, не то вздохнула, не то выдохнула с кашлем:

— Я не краси...

— Ты — как Натали Портман в две тысячи втором году. Как Натали Портман из фильма «,V“ значит Вендетта».

— Никогда не видела, — сказала я.

— Правда? — спросил он. — Красивая стриженная девушка не признает авторитетов и влюбляется в парня — ходячую проблему. Это, насколько я вижу, прямо твоя автобиография.

Каждый слог флиртовал. Честно говоря, он меня прямо-таки завел. А я и не знала, что меня возбуждают парни, — ну, в реальной жизни.

Мимо прошла маленькая девочка.

— Как дела, Алиса? — спросил он.

Она улыbnулась и промямлила:

— Привет, Огастус.

— «Мемориальные» ребятишки, — объяснил он. «Мемориалом» называлась большая исследовательская клиника. — А ты куда ходишь?

— В детскую, — ответила я неожиданно тонким голосом. Он кивнул. Разговор вроде подошел к концу. — Ну что ж, — начала я, неопределенно кивая на лестницу, выведившую из буквального сердца Иисуса, наклонила тележку на колесики и пошла. Огастус хромал сзади. — Увидимся в следующий раз?

— Обязательно посмотри «„V“ значит Вендетта», — напомнил он.

— Ладно, — согласилась я. — Посмотрю.

— Нет, со мной. У меня дома, — сказал он. — Сейчас.

Я остановилась.

— Я тебя почти не знаю, Огастус Уотерс. А вдруг ты маньяк с топором?

Он кивнул:

— Честный ответ, Хейзел Грейс. — Он обогнал меня, расправив плечи и выпрямив спину. Он лишь чуть-чуть припадал на правую ногу, но уверенно и ровно шагал на, как я

определила, протезе. Остеосаркома обычно забирает конечность. Затем, если вы ей понравились, она забирает остальное.

Я медленно двинулась за ним наверх, постепенно отставая: подъем по ступенькам — вне сферы компетенции моих легких.

Из сердца Иисуса мы вышли на парковку, на приятно свежий весенний воздух и под замечательно резкий дневной свет.

Матери на парковке не оказалось, что было необычно — она почти всегда меня поджидала. Осмотревшись, я увидела, как высокая фигуристая брюнетка прижала Айзека к каменной стене церкви и довольно агрессивно его целовала. Все происходило достаточно близко, и до меня доносились причмокивающие звуки. Айзек спрашивал: «Всегда?» — и девушка отвечала: «Всегда».

Неожиданно оказавшись рядом со мной, Огастус вполголоса сказал:

— Они свято верят в публичное выражение нежных чувств.

— А причем тут «всегда»?

Чавкающие звуки стали громче.

— Это их фишка. Они всегда будут любить друг друга и все такое. По моей скромной оценке, за прошлый год они обменялись сообщениями со словом «всегда» четыре миллиона раз.

Отъехала еще пара машин, забрав Майкла и Алису. Остались только мы с Огастусом — наблюдать за Айзеком и Моникой, которые шустро продолжали, будто и не у стены культового сооружения. Он крепко держал ее за грудь поверх рубашки, причем ладонь оставалась неподвижной, а пальцы шарили по кругу. Интересно, это приятно? Мне так не показалось, но я решила быть снисходительной к Айзеку на том основании, что вскоре он станет слепым. Чувства должны пировать, пока есть голод, да и вообще.



— Представляешь, каково в последний раз ехать в больницу, — тихо сказала я. — В последний раз вести машину...

Не глядя на меня, Огастус произнес:

— Сбиваешь мне все настроение, Хейзел Грейс. Я же наблюдаю за молодой страстью в ее многопрелестной неуклюжести!

— По-моему, у нее будет синяк, — предположила я.

— Да, не поймешь, то ли он старается ее возбудить, то ли проводит маммологический осмотр. — Огастус Уотерс сунул руку в карман и вытащил, не поверите, пачку сигарет. Открыв пачку, он сунул сигарету в рот.

— Ты что, серьезно? — спросила я. — Возомнил, что это круто? Боже мой, ты только что все испортил!

— А что все? — спросил он, поворачиваясь ко мне. Незажженная сигарета свисала из улыбающегося уголка его рта.

— Все — это когда парень, не лишенный ума и привлекательности, по крайней мере на первый взгляд, смотрит на меня недопустимым образом, указывает на неверное истолкование буквальности, сравнивает меня с актрисами, приглашает посмотреть кино к себе домой, но без гамартии нет человека, и ты, блин, несмотря на то что у тебя проклятый рак, отдаешь деньги табачной компании в обмен на возможность получить другую разновидность рака. О Боже! Позволь тебя заверить: невозможность вздохнуть полной грудью **ОЧЕНЬ ДЕРЬМОВАЯ ШТУКА!** Ты меня совершенно разочаровал.

— Что такое гамартия? — спросил он, все еще держа сигарету губами. Подбородок у него напрягся. К сожалению, у него прекрасный волевой подбородок.

— Фатальный изъян, — объяснила я, отворачиваясь. Я отошла к обочине, оставив Огастуса

Уотерса позади, и услышала, как на улице сорвалась с места машина. Мать, кто же еще. Ждала, пока я заведу друзей.

Меня посетило странное чувство — разочарование пополам с негодованием, затопляющее изнутри. Я даже точно не назову это чувство, скажу лишь, что его было много; мне одновременно хотелось поцеловать Огастуса Уотерса и заменить свои легкие на здоровые, которые дышат. Я стояла на краю тротуара в своих кедах, прикованная к тележке с баллоном кислорода, как каторжник к ядру. Когда мать уже подъезжала, я почувствовала, как кто-то схватил меня за руку.

Руку я выдернула, но обернулась.

— Они не убивают, если их не зажигать, — сказал Огастус, когда мать затормозила у обочины. — А я в жизни ни одной не зажигал. Это метафора, вот смотри: ты держишь в зубах смертельно опасную дрянь, но не даешь ей возможности выполнить свое смертоносное предназначение.

— Метафора? — засомневалась я. Мать ждала, не выключая двигатель.

— Метафора, — подтвердил Огастус.

— Ты выбираешь линию поведения на основании метафорического резонанса? — предположила я.

— О да, — улыбнулся он широко, искренне и настояще. — Я очень верю в метафоры, Хейзел Грейс.

Я повернулась к машине и постучала по стеклу. Оно опустилась.

— Я иду в кино с Огастусом Уотерсом, — сказала я. — Пожалуйста, запиши для меня остальные серии «Новой топ-модели».

## Глава 2

Водил Огастус Уотерс ужасающе. И остановки, и старты получались у него с резким рывком. Когда «тойота»-внедорожник тормозила, я всякий раз чуть не вылетала из-под ремня, а когда он давил на газ, я ударилась затылком о подголовник. Мне бы занервничать — сижу в машине со странным парнем, еду к нему домой, отчетливо ощущая, как мои никуда не годные легкие мешают вовремя предугадать полеты над сиденьем, но Огастус так поразительно плохо вел машину, что ни о чем другом я думать не могла.

Мы проехали примерно милю в таком вот молчании, когда Огастус решил признаться:

— Я три раза заваливал экзамен на права.

— Да не может быть.

Он засмеялся, кивая:

— Я же не чувствую, насколько старый добрый протез давит на педаль, а с левой ноги водить не научился. Врачи говорят, большинство после ампутации водят без проблем, но... не я. Пошел сдавать в четвертый раз, чувствую, фигня. — В полумиле впереди загорелся красный. Огастус ударил по тормозам, бросив меня в треугольные объятия ремня безопасности. — Прости, видит Бог, я старался нежнее. Ну так вот в конце теста я уже не сомневался — снова провалился, а инструктор говорит: «Манера вождения у вас неприятная, но, строго говоря, не опасная».

— Не могу согласиться, — сказала я. — Похоже, тут имел место раковый бонус.

Раковые бонусы — это побрякушки или подарки, которые детям с онкологией достаются, а здоровым нет: баскетбольные мячи с автографами чемпионов, свободная сдача домашних заданий (без снижения за опоздание), незаслуженные водительские права и тому подобное.

— Ага, — подтвердил Огастус. На светофоре загорелся зеленый. Я приготовилась к рывку. Огастус ударил по газам.

— Знаешь, а ведь для тех, кто не владеет ногами, выпускаются машины с ручным управлением, — сообщила я.

— Знаю, — согласился Огастус. — Может, потом. — Он вздохнул, словно не был уверен в существовании этого «потом». Остеосаркому сейчас успешно лечат, но всякое бывает.

Есть способы узнать приблизительную продолжительность жизни собеседника, не спрашивая напрямую. Я испробовала классический:

— А в школу ты ходишь?

Как правило, родители забирают тебя из школы, если считается, что тебе каюк.

— Да, — ответил он. — В Норт-сентрал. Правда, на год отстал, я в десятом. А ты?

Меня посетило искушение солгать — кому понравится ходячий труп, но все же я сказала правду.

— Нет, родители забрали три года назад.

— Три года? — в изумлении переспросил он.

Я в подробностях расписала историю своего чуда: в тринадцать лет у меня обнаружили рак щитовидки четвертой степени (я не сказала Огастусу что диагноз поставили через три месяца после первой менструации. Получилось вроде как — поздравляем, ты девушка, а теперь можешь подышать). Нам сказали — случай некурабельный.

Мне сделали операцию «радикальное иссечение клетчатки шеи», столь же «приятную», как ее название. Потом курс облучения. Потом химию против метастазов в легких. Метастазы уменьшились, потом снова выросли. Мне тогда было четырнадцать. Легкие начали наполняться жидкостью. Я выглядела конкретным трупом: кисти и стопы отекали, кожа потрескалась, губы постоянно были синие. Появилось лекарство, которое позволяло чуть меньше ужасаться невозможности дышать, и мне лили его целыми литрами через ЦВК[2] вместе с десятком других медикаментов. Очень неприятно захлебываться раковым экссудатом, особенно после нескольких месяцев с этим катетером. В конце концов я загремела с пневмонией в отделение интенсивной терапии. Мать стояла на коленях рядом с койкой и повторяла: «Ты готова, детка?» — я говорила — да, готова, отец повторял, что любит меня, и его голос почти не дрожал, потому что давно сел, а я повторяла, что тоже его люблю, и мы все держались за руки, и я не могла отдышаться, и легкие работали на пределе, и я задыхалась и приподнималась на койке, стараясь найти положение, в котором они смогли бы наполниться воздухом, и меня озадачивало отчаянное упорство собственных легких и бесило, что они не желают просто сдаться, и мама говорила, что все хорошо, что со мной все хорошо и будет хорошо, а папа так старался сдерживать рыдания, что, когда это ему не удавалось (через равные промежутки времени), он дергался всем телом, вызывая в палате маленькое землетрясение. Помню, я не хотела, чтобы меня будили.

Все решили, что я пешком отправилась на тот свет, но мой онколог доктор Мария смогла откачать жидкость из легких, а вскоре подействовали антибиотики, которые мне кололи от пневмонии.

Очнувшись, я попала в одну из экспериментальных групп, которыми славится Раковая Республика для Неработающих. Экспериментальное лекарство называлось фаланксифор: его молекулам полагалось прикрепляться к раковым клеткам и замедлять их рост. Семидесяти процентам больных фаланксифор не помогал. А мне помог — опухоли в легких уменьшились.

И больше не росли. Виват, фаланксифор! За последние полтора года метастазы практически не увеличились, оставив мне легкие, которые не способны толком дышать, но по прогнозам продержатся неопределенный период времени с помощью подаваемого кислорода и ежедневного приема фаланксифора.

Разумеется, мое раковое чудо лишь купило мне немного времени (сколько именно, сказать никто не может). Но в разговоре с Огастусом Уотерсом я расписала перспективы самыми розовыми красками, приукрасив масштабы чуда.

— Значит, ты снова пойдешь в школу, — подытожил он.

— Вообще-то не пойду, — сказала я. — Я уже получила аттестат. Я учусь в МСС.

Это был единственный колледж в нашем районе.

— Студентка, — кивнул Огастус Уотерс. — Вот чем объясняется аура учености.

Он смеялся надо мной. Я шуточно пихнула его в плечо, ощутив прекрасные упругие мышцы.

Под визг покрышек мы свернули в переулок с оштукатуренными стенами высотой футов восемь. Дом Уотерсов оказался первым слева — двухэтажный, в колониальном стиле. Мы рывком затормозили на подъездной дорожке.

Я вошла за Огастусом в дом. Деревянная табличка над дверью с гравировкой курсивом «Дом там, где сердце» оказалась лишь началом: подобными изречениями пестрел весь дом. «Хороших друзей трудно сыскать и невозможно забыть», — заверяла настенная вешалка. «Настоящая любовь рождается в трудные времена», — говорила игольница в гостиной, обставленной старой мебелью. Огастус перехватил мой взгляд.

— Родители называют их «ободрениями», — пояснил он. — Они тут повсюду.

Отец с матерью называли его Гасом. Они на кухне готовили энчилады (над раковиной висела пластинка витражного стекла с пузырьчатыми буквами «Семья навсегда»). Мать клала на

тортильяс курятину, а отец сворачивал блинчик и помещал его в стеклянный сотейник. Они не удивились моему приходу, что я сочла разумным: если Огастус дал мне почувствовать себя особенной, это не значит, что так оно и есть на самом деле. Может, он каждый день водит домой девушек смотреть фильмы и поднимать настроение.

— Это Хейзел Грейс, — представил он меня.

— Просто Хейзел, — поправила я.

— Как дела, Хейзел? — спросил отец Гаса. Он был высоким, почти как Гас, и тощим. Мужчины в его возрасте редко такими бывают.

— Ничего, — ответила я.

— Как там группа поддержки Айзека?

— Обалдеть, — ответил Гас.

— Ну ты вечно всем недоволен, — пожурела его мать. — Хейзел, а тебе там нравится?

Я помолчала секунду, решая, как откалибровать ответ: чтобы понравиться Огастусу или его родителям?

— Большинство участников очень отзывчивые, — произнесла я наконец.

— Именно такое отношение мы встретили в семьях в «Мемориал», когда Гас там лежал, — поделился его отец. — Все были такими добрыми и мужественными. В черные дни Господь посылает в нашу жизнь лучших людей.

— Скорее дайте мне думку и нитки, эту фразу нужно вышить и сделать ободрением, — вскричал Огастус. Отцу это не понравилось, но Гас обнял его длинной рукой за шею и

сказал:

— Шучу, пап. Я высоко ценю ваши чертовы ободрения. Признать это открыто мешает переходный возраст.

Отец только округлил глаза.

— Поужинаешь с нами? — спросила мама Гаса, миниатюрная брюнетка, похожая на мышку.

— Наверное, — ответила я. — Только мне домой к десяти. И я, это, не ем мяса.

— Нет проблем, сделаем несколько блинчиков вегетарианскими, — сказала она.

— Так сильно любишь животных? — поинтересовался Гас.

— Просто хочу минимизировать число смертей, за которые несу ответственность, — пояснила я.

Гас открыл рот что-то ответить, но передумал.

Паузу поспешила заполнить его мать:

— Я считаю, это замечательно.

Они немного поговорили о том, что сегодняшние энчилады — это фирменные блинчики Уотерсов, которые нельзя не попробовать, и они с мужем тоже требуют от Гаса приходить не позже десяти, и как они инстинктивно не доверяют людям, у которых дети приходят не в десять, и будь я в школе... — «Она уже в колледже», — вставил Гас, — и погода стоит совершенно необыкновенная для марта, и весной все кажется первозданно новым, и они ни разу не спросили меня о кислородном баллоне или диагнозе, что было необычно и приятно, а потом Огастус объявил:



— Мы с Хейзел посмотрим «,V“ значит Вендетта». Хочу показать ее киношного двойника, Натали Портман образца двухтысячного года.

— Телевизор в гостиной к вашим услугам, — с энтузиазмом сказал его отец.

— А почему не на цокольном этаже?

Его отец засмеялся:

— Обяза-ательно. Идите в гостиную.

— Но я хочу показать Хейзел Грейс подвал, — настаивал Огастус.

— Просто Хейзел, — поправила я.

— Покажи просто Хейзел подвал, — согласился отец, — а потом поднимайтесь и смотрите свой фильм в гостиной.

Огастус надул щеки, встал на ногу и покрутил задом, выбрасывая протез вперед.

— Прекрасно, — пробормотал он.

Я спустилась за ним по ступенькам с ковровой дорожкой в огромное помещение под домом. Полка, обегавшая комнату на уровне глаз, была уставлена баскетбольными призами: больше десятка пластиковых позолоченных статуэток мужчин в прыжке, ведущих мяч или делающих бросок в невидимую корзину. Были на полке и подписанные мячи и кроссовки.

— Я раньше в баскетбол играл, — объяснил Гас.

— Вижу, что очень успешно.

— Да, в последних не ходил, но кроссовки и мячи — это все раковые бонусы. — Он подошел к телевизору, где гора DVD и видеоигр отдаленно напоминала пирамиду, и, нагнувшись, вытащил «Вендетту».

— Я, можно сказать, был типичным белым уроженцем Индианы, — сказал он. — Увлекался воскрешением утерянного искусства бросать мяч из статического положения со средней дистанции. Но однажды я отрабатывал броски сериями — стоял на штрафной в спортзале Норт-сентрал, кидал мячи со стойки — и неожиданно перестал понимать, для чего я методично бросаю сферические предметы через тороидальный объект. Мне вдруг показалось, что я занимаюсь несусветной глупостью. Я вспомнил о маленьких детях, снова и снова продавающих цилиндрический колок через круглую дырку целыми месяцами, и решил: баскетбол — всего лишь более аэробическая версия такой же ерунды. В тот раз я очень долго не промахивался — забросил подряд восемь мячей в корзину, мой лучший результат, но, бросая мячи, я все больше чувствовал себя двухлетним. И с тех пор я отчего-то начал думать о беге с препятствиями. Тебе плохо?

Я присела на угол неубранной кровати. Я ни на что не намекала, просто я устаю, когда приходится долго стоять. Я стояла в гостиной, затем были ступеньки, потом опять стояла, суммарного стояния для меня оказалось слишком много, а я не хотела падать в обморок. Обмороками я напоминала леди викторианской эпохи.

— Нормально, — успокоила я. — Заслушалась. Значит, бег с препятствиями?

— Да. Сам не знаю почему. Я начал думать о забегах с прыжками через эти сомнительные препятствия на дорожках. Мне пришло в голову, что про себя бегуны думают — дело пошло бы быстрее, убери они эти барьеры.

— Это было до постановки диагноза? — спросила я.

— Ну, и это тоже. — Он улыбнулся половинкой рта. — День экзистенциально наполненных штрафных бросков случайно совпал с последним днем моей двуногости. Между назначением ампутации и операцией пришились выходные. Так что я отчасти понимаю, что сейчас чувствует Айзек.

Я кивнула. Огастус Уотерс мне нравился. Очень-очень нравился. Мне понравилось, что свой рассказ он закончил не на себе. Мне нравился его голос. Мне нравилось, что он выполнял экзистенциально наполненные штрафные броски. Мне нравилось, что он штатный профессор кафедры Слегка Асимметричных Улыбок и — на отделении дистанционного обучения — кафедры Голоса, от которого моя кожа становилась чем-то большим, нежели просто кожа. И мне нравилось, что у него два имени. Мне всегда нравились люди с двумя именами — можно выбирать, как называть: Гас или Огастус. Сама я всегда была Хейзел, безвариантная Хейзел.

— У тебя братья-сестры есть? — спросила я.

— А? — переспросил он, явно думая о своем.

— Ну, ты говорил о наблюдении за детской игрой...

— А, да нет. Племянники есть, от сводных сестер, они намного старше. Па-ап, сколько сейчас Джулии и Марте?

— Двадцать восемь!

— Им по двадцать восемь. Живут в Чикаго. Обе вышли замуж за очень прикольных юристов. Или банковских служащих, не помню. У тебя есть брат или сестра?

Я отрицательно покачала головой.

— А какая у тебя история? — спросил он, присаживаясь на кровать на безопасном расстоянии.

— Я уже рассказывала. Мне поставили диагноз, когда мне было...

— Нет, не история болезни. Твоя история. Интересы, увлечения, страсти, фетиши и тому

подобное.

— Хм, — задумалась я.

— Только не говори, что ты одна из тех, кто превратился в собственную болезнь. Я таких много знаю. От этого просто руки опускаются. Рак — растущий бизнес, занимающийся поглощением людей, но зачем же уступать ему досрочно?

Мне пришло в голову, что я, пожалуй, так и сделала. Я не знала, как преподнести себя Огастусу в выгодном свете, какие склонности и увлечения сказали бы в мою пользу, и в наступившей тишине мне вдруг показалось, что я не очень интересная.

— Я самая обыкновенная.

— Отвергаю с ходу. Подумай, что тебе нравится? Первое, что придет на ум.

— Ну... чтение.

— А что читаешь?

— Все. От дешевых романов до претенциозной прозы и поэзии. Что попадет.

— А сама стихи пишешь?

— Этого еще не хватало!

— Ну вот! — воскликнул Огастус Уотерс. — Хейзел Грейс, ты единственный подросток в Америке, кто предпочитает читать стихи, а не писать их. Это мне о многом говорит. Ты читаешь много хороших книг, книг с большой буквы?

— Ну наверное.

— А любимая какая?

— Хм, — ответила я.

Среди любимых у меня с большим отрывом лидирует «Царский недуг», но я не хочу говорить о ней людям. Иногда прочтешь книгу, и она наполняет тебя почти евангелическим пылом, так что ты проникаешься убеждением — рухнувший мир никогда не восстановится, пока все человечество ее не прочтает. Существуют произведения вроде «Царского недуга», о которых не хочется говорить вслух: это книги настолько особые, редкие и твои, что объявить о своих предпочтениях кажется предательством.

Это даже не то чтобы блестяще написанное произведение. Просто автор, Питер ван Хутен, понимает меня до странности и невероятности. «Царский недуг» — моя книга, так же как мое тело — это мое тело, а мои мысли — это мои мысли.

Решившись, я сказала Огастусу:

— А любимая, наверное, «Царский недуг».

— Там зомби есть? — спросил он.

— Нет, — ответила я.

— А штурмовики?

Я покачала головой:

— Эта книга не об этом.

Огастус улыбнулся:

— Я прочту эту жуткую книгу со скучным названием, в которой даже нет штурмовых отрядов, — пообещал он. Я сразу пожалела о своей откровенности. Огастус обернулся к стопке книг на тумбочке у кровати. Взяв одну, в мягкой обложке, он занес над ней ручку и написал посвящение на титульном листе, говоря:

— Все, о чем я прошу взамен, — прочитай этот блестящий запоминающийся роман по мотивам моей любимой видеоигры.

Он подал мне книгу «Цена рассвета». Я рассмеялась и взяла. Наши руки задержались на книге, соприкоснулись, и Огастус взял меня за руку.

— Холодная, — сказал он, прижав палец к моему бледному запястью.

— Это от недостаточной оксигенации, — решила сумничать я.

— Обожаю, когда ты говоришь со мной на медицинском языке. — Огастус встал и потянул меня за собой, он не отпускал руку, пока мы не подошли к лестнице.

Фильм мы смотрели, сидя в нескольких дюймах друг от друга. Чувствуя себя совершенно как в средней школе, я положила руку на диван между нами, намекая — я не против, если Огастус ее пожмет. Но он даже не попытался. Час спустя после начала фильма вошли его родители и принесли нам энчилады, которые мы съели на диване. Блинчики и в самом деле оказались очень вкусными.

Фильм был о герое в маске, мужественно погибающем за Натали Портман, которая оказалась той еще стервой, очень красивой и нисколько не похожей на мое пухлое от стероидов лицо.

Когда пошли титры, Огастус сказал:

— Здорово, правда?

— Здорово, — согласилась я, хотя так не считала. Это фильм для мальчишек. Не понимаю, отчего мальчишки ожидают, что нам понравятся их фильмы. Мы же не ждем, что они проникнутся женским кино. — Мне домой пора. С утра лекция.

Я сидела на диване, пока Огастус искал ключи. Его мать под села ко мне и произнесла:

— Мне оно тоже очень нравится.

Я спохватилась, что бездумно разглядываю ободрение над телевизором, изображающее ангела с подписью «Без боли как бы познали мы радость?»

(Глупость и отсутствие глубины этого избитого аргумента из области «Подумай о страданиях» разобрали по косточкам много веков назад; я ограничусь напоминанием, что существование брокколи никоим образом не влияет на вкус шоколада.)

— Да. Премилая мысль.

По дороге домой за руль села я, отправив Огастуса на пассажирское сиденье. Он поставил свою любимую группу «Лихорадочный блеск». Песни были хорошие, но я слушала их в первый раз, и мне они не так понравились, как Огастусу. Я посматривала на его ногу, вернее, на то место, где была его нога, пытаюсь представить, как выглядит протез. Я не хотела об этом думать, но отчего-то думала. А он, наверное, размышлял про мой кислородный баллон. Я давно поняла — болезнь отталкивает, и сейчас заподозрила это в Огастусе.

Когда я затормозила у своего дома, Огастус выключил стерео. В воздухе повисло напряжение. Он, наверное, раздумывал о том, поцеловать меня или нет, а я спешно решала, хочу я этого или не очень. Я целовалась с мальчишками, но это было давно, до Чуда.

Я перевела рычаг на паркинг и покосилась на Огастуса. Он был очень красив. Мальчишкам красота не обязательна, но он правда был красавец.

— Хейзел Грейс, — сказал он. Мое имя прозвучало по-новому и удивительно красиво. — Знакомство с тобой оказалось истинным удовольствием.

— И вам того же, мистер Уотерс, — поддержала игру я, не решаясь взглянуть на него. Я не могла выдержать пристального взгляда его голубых, как вода, глаз.

— Могу я снова тебя увидеть? — попросил он с подкупающим волнением в голосе.

— Конечно, — улыбнулась я.

— Завтра? — спросил он.

— Терпение, кузнечик, — посоветовала я. — Ты же не хочешь показаться чересчур напористым.

— Не хочу, поэтому и предлагаю завтра, — сказал Огастус. — Я хотел бы увидеть тебя снова уже сегодня, но я готов ждать всю ночь и большую часть завтрашнего дня. — Я вытаращила глаза. — Серьезно.

— Ты ведь меня совсем не знаешь, — пошла на попятную я, забирая книгу с центральной консоли. — Позвоню, когда дочитаю.

— У тебя нет моего телефона, — напомнил он.

— Подозреваю, ты написал его на титульном листе.

Огастус расплылся в дурацкой улыбке:



— А еще говоришь, мы плохо знаем друг друга!

### Глава 3

Я не ложилась допоздна, читая «Цену рассвета» (подпорчу удовольствие тем, кто не читал: цена рассвета — кровь). Это, конечно, не «Царский недуг», но протагонист, старший сержант Макс Мейхем, мне чем-то смутно понравился, хотя и убил, по моим подсчетам, не менее ста восемнадцати человек на двухстах восьмидесяти четырех страницах.

Поэтому утром в четверг я проснулась поздно. Маминой политикой было никогда меня не будить: одно из стандартных требований к должности профессионального больного — много спать, поэтому в первую секунду я ничего не поняла, проснувшись как встрепанная от ощущения маминых рук на плечах.

— Уже почти десять, — сообщила она.

— Сон борется с раком, — ответила я. — Я зачиталась.

— Должно быть, интересная книжка, — сказала мама, опускаясь на колени у кровати и отвинчивая меня от большого прямоугольного концентратора кислорода, который я называла Филиппом (ну он чем-то походил на Филиппа).

Мама подключила меня к переносному баллону и напомнила, что у меня занятия.

— Тебе тот мальчик это передал? — вдруг спросила она ни с того ни с сего.

— «Это» означает герпес?

— Ты заговариваешься. Книгу, Хейзел, «это» означает книгу.

— Да, книгу дал мне он.

— Я сразу увидела, что он тебе нравится, — изрекла мама, приподняв брови, будто подобный вывод требовал уникального материнского инстинкта. Я пожала плечами. — Вот видишь, и от группы поддержки есть польза.

— Ты что, весь час на шоссе ждала?

— Да. У меня с собой была работа... Ладно, пора встречать новый день, юная леди.

— Мам. Сон. Борется. С. Раком.

— Дорогая, но ведь есть и лекции, которые надо посещать. К тому же сегодня... — В мамин голос явственно слышалось ликование.

— Четверг?

— Неужели ты не помнишь?

— Ну не помню, а что?

— Четверг, двадцать девятое марта! — буквально завопила она с безумной улыбкой на лице.

— Ты так рада, что знаешь дату? — заорала я ей в тон.

— Хейзел! Сегодня твой тридцать третий полудень рождения!

— О-о-о, — протянула я.

Вот что мать действительно умеет, так это раздуть любой повод для праздника. Сегодня День дерева! Давайте обнимать деревья и есть торт! Колумб завез индейцам оспу, устроим пикник в честь этого события!

— Ну что ж, поздравляю себя с тридцать третьим полуднем рождения.

— Чем ты хочешь заняться в такой особенный день?

— Вернуться домой с занятий и установить мировой рекорд по непрерывному просмотру выпусков «Адской кухни».

С полки над моей кроватью мама взяла Блуи, синего мягкого мишку, который у меня, наверное, лет с полутора, когда еще допустимо называть друзей по цвету.

— Не хочешь сходить в кино с Кейтлин, или Мэттом, или еще с кем-нибудь?

То есть с моими друзьями.

Идея мне неожиданно понравилась.

— И правда, — поддержала я. — Сброшу Кейтлин сообщение, не хочет ли она сходить в молл после уроков.

Мама улыбнулась, прижимая мишку к животу.

— А что, по-прежнему круто ходить в молл?

— Я очень горжусь своим незнанием того, что круто, а что нет, — ответила я.

Я написала Кейтлин, приняла душ, оделась, и мама отвезла меня на американскую литературу, на лекцию о Фредерике Дугласе в почти пустой аудитории. Было очень трудно не заснуть. Через сорок минут после начала полуторачасовой лекции пришло сообщение от Кейтлин:

«Я потряслась. Поздравлю с полурождением. Каслтон в 15.32 годится?»

У Кейтлин бурная жизнь, которую приходится расписывать по минутам. Я ответила:

«Здорово. Жду там, где кафешки».

С занятий мама отвезла меня в книжный, пристроенный к моллу, где я купила «Полуночный рассвет» и «Реквием по Мейхему», два первых сиквела к «Цене рассвета». В огромном фуд-корте я взяла диетическую колу. На часах было три двадцать одна.

Поглядывая на детей, игравших в детском комплексе в виде пиратского корабля, я читала. Двое ребяташек без устали раз за разом пролезали сквозь один и тот же тоннель, и я снова подумала об Огастусе Уотерсе и его экзистенциально наполненных штрафных бросках.

Мама тоже ждала у кафешек, сидя в одиночестве в углу, где, как ей казалось, я не могу ее видеть, ела сэндвич со стейком и сыром и листала какие-то бумаги. Наверное, медицинские. Бумаг была пропасть.

Ровно в три тридцать две мимо «Уок-Хауса» уверенным шагом прошла Кейтлин. Меня она увидела, когда я подняла руку. Сверкнув очень белыми, недавно выпрямленными зубами, Кейтлин направилась ко мне.

Грифельно-серое пальто до колен сидело идеально, огромные темные очки закрывали большую половину лица. Подойдя ко мне обниматься, Кейтлин сдвинула их на макушку.

— Дорогая, — сказала она с еле уловимым британским акцентом, — как ты?

Люди не считали ее акцент странным или неприятным. Кейтлин — умнейшая двадцатипятилетняя британская светская львица, случайно попавшая в тело шестнадцатилетней школьницы из Индианаполиса. Все с этим смирились.

— Хорошо. А ты как?

— Уже и не знаю. Диетическая? — Я кивнула и протянула ей бутылочку. Кейтлин отпила через соломинку. — Очень жалею, что ты не ходишь в школу. Некоторые мальчишки стали, можно сказать, вполне съедобными.

— Да что ты? Например? — заинтересовалась я.

Кейтлин назвала пятерых парней, которых я знала с начальной школы, но не могла представить их взрослыми.

— Я уже некоторое время встречаюсь с Дерекком Веллингтоном, — поделилась она, — но вряд ли это продлится долго. Он еще такой мальчишка... Но хватит обо мне. Что нового в Хейзелграде?

— Ничего, — ответила я.

— Здоровье ничего?

— Да все по-прежнему.

— Фаланксифор! — восторженно вскричала она, улыбаясь. — Теперь ты сможешь жить вечно!

— Ну, не вечно, — заметила я.

— Но в целом что еще нового?

Мне захотелось сказать, что я тоже встречаюсь с мальчиком, по крайней мере смотрела с ним фильм, и утереть Кейтлин нос фактом, что такая растрепанная, неуклюжая и чахлая особа, как я, способна, пусть и ненадолго, завоевать привязанность мальчишки. Но хвастаться мне было особо нечем, поэтому я просто пожала плечами.

— А это что такое, скажи на милость? — спросила Кейтлин, показывая на книжку.

— А, научная фантастика. Я немного увлеклась. Это книжная серия.

— Я в шоке. Ну что, пошли по магазинам?

Мы отправились в обувной. Кейтлин принялась выбирать для меня балетки с открытым мыском, повторяя: «Тебе они пойдут». Я вспомнила, что сама Кейтлин никогда не носит босоножки, потому что ненавидит свои ступни, считая вторые пальцы на ногах слишком длинными. Можно подумать, второй палец ноги — это окно в душу или еще что-нибудь важное. Поэтому, когда я выбрала ей босоножки, прекрасно подходившие к загорелой коже, она замялась: «Да, но...» — в том смысле, что «в них же все увидят мои ужасные вторые пальцы». Я сказала:

— Кейтлин, ты единственная из моих знакомых страдаешь дисморфией пальцев ног.

— Это как? — спросила Кейтлин.

— Ну когда ты смотришь в зеркало, ты видишь там не то, что на самом деле.

— А-а, — протянула она. — А такие тебе нравятся? — Она сняла с полки красивые, но неброские «Мэри Джейнс», и я кивнула. Она нашла свой размер, надела и принялась расхаживать по проходу, глядя на свои ноги в наклонные зеркала у пола. Затем Кейтлин схватила вызывающие туфли с ремешками.

— Неужели в них можно ходить? Умереть можно! — воскликнула она, но тут же осеклась и посмотрела на меня виновато, словно говорить о смерти в присутствии умирающего — преступление.

— Примерь, — предложила Кейтлин, стараясь сгладить неловкость.

— Лучше смерть, — отказалась я.

В конце концов я взяла пару шлепанцев, чтобы хоть что-то купить, и сидела теперь на скамейке напротив полок с обувью, глядя, как Кейтлин бегает по проходам, выбирая туфли с сосредоточенностью шахматиста. Мне захотелось достать «Полуночные рассветы» и почитать, но я понимала, что это невежливо, поэтому я смотрела на Кейтлин. Она то и дело возвращалась ко мне, сжимая добычу с закрытыми мысками, и спрашивала: «Эти?» — а я пыталась сказать что-нибудь умное о данной модели. В конце концов она купила три пары, я заплатила за свои шлепанцы, и она предложила:

— Ну что, в «Антрополоджи»?

— Я, наверное, поеду домой, — отказалась я. — Что-то я устала.

— Да-да, конечно. Надо нам чаще встречаться, дорогая. — Она взяла меня за плечи, расцеловала в обе щеки и зашагала прочь, покачивая узкими бедрами.

Но домой я не поехала. Я просила маму забрать меня в шесть, и пока она, по моим расчетам, находилась в молле или на парковке, у меня оставались два часа личной свободы.

Маму я люблю, но ее постоянная близость порой вызывает у меня непонятную нервозность. И Кейтлин я тоже люблю, правда, но за три года без нормального общения с ровесниками я отдалилась от них, и мост через возникшую пропасть не перекинуть. Школьные подруги, конечно, хотели помочь мне вылечиться от рака, но вскоре убедились, что это не в их власти. Прежде всего рак у меня никогда не пройдет.

Поэтому я отговорила болями и усталостью, как часто делала при встречах с Кейтлин и другими. Сказать по правде, больно мне всегда. Больно не иметь возможности дышать, как нормальный человек, постоянно напоминать легким выполнять свою работу, принимать как неизбежность дерущую, царапающую, до боли знакомую боль кислородной недостаточности. Поэтому, строго говоря, я не солгала, а просто выбрала одну из истин.

Присмотрев скамейку между магазинчиком ирландских сувениров, «Империей чернильных ручек» и киоском с бейсбольными кепками — в эту часть молла Кейтлин никогда не заглянет, — я начала читать «Полуночные рассветы».

Соотношение трупов и предложений в этой книжке было приблизительно один к одному, и я продиралась сквозь текст не отрываясь. Мне нравился старший сержант Макс Мейхем, хотя в нем было мало индивидуального, мне нравилось, что его приключения продолжаются. Всегда были плохие парни, которых требовалось прикончить, и хорошие, которых нужно было спасти. Новые войны начинались еще до окончания старых. В детстве я не читала серийную фантастику, и жить в бесконечном вымысле оказалось интересно.

За двадцать страниц до конца «Полуночных рассветов» Мейхему пришлось несладко — он получил семнадцать ран, спасая заложницу (американку и блондинку) от врага. Но как читатель я не отчаивалась. Война продолжится и без него. Возможно — да что там, обязательно, — появятся сиквелы о его команде: младшем сержанте Мэнни Локо, рядовом Джаспере Джексе и других.

Я почти дочитала, когда маленькая девочка с бантиками в косичках подошла ко мне и спросила:

— А что у тебя в носу?



Я ответила:

— Это называется канюля. Трубки дают мне кислород, помогая дышать.

Подкатила ее мамаша и неодобрительно крикнула: «Джеки!» — но я заверила: «Ничего, ничего», — потому что и в самом деле ничего в ее вопросе не было.

Джеки попросила:

— Можешь дать мне тоже подышать?

— Не знаю, давай попробуем! — Я сняла канюли с ушей и позволила Джеки сунуть трубки в нос.

— Щекотно, — засмеялась она.

— Я знаю.

— Кажется, мне легче дышится, — сказала она.

— Да?

— Да.

— Ну, — произнесла я, — жаль, что я не могу отдать тебе мою трубку. Мне без нее не обойтись!

Я уже ощущала отсутствие кислорода и дышала с усилием, когда Джеки отдала мне трубки. Я быстро сунула их под футболку, заправила за уши и сунула кончики в ноздри.

— Спасибо, что дала попробовать, — поблагодарила Джеки.

— Нет проблем.

— Джеки, — снова позвала ее мать, и на этот раз я не стала удерживать девочку.

Я вернулась к книге, где старший сержант Макс Мейхем сожалел, что может отдать своей стране всего одну жизнь, но никак не могла позабыть о малышке, которая мне очень понравилась.

Проблема с Кейтлин в том, что я никогда не смогу естественно, как прежде, с ней болтать. Все попытки разыгрывать обычное общение только угнетали. Очевидно, все, с кем мне суждено разговаривать остаток дней, будут чувствовать себя неловко и испытывать угрызения совести, за исключением разве что детишек вроде Джеки, которые еще не знают жизни.

Словом, мне нравится быть одной. Одной с бедным старшим сержантом Максом Мейхемом, который — о, да ладно, не выживет он после семнадцати пулевых ранений!

(Снова позволю себе испортить удовольствие тем, кто еще не читал: он выжил.)

Спать я легла довольно рано. Переодевшись в мальчишеские трусы и футболку, я забралась под одеяло на кровать — двуспальную, с подушкой, одно из моих любимейших мест в мире — и в тысячный раз начала перечитывать «Царский недуг».

В «Недуге» рассказывается о девочке по имени Анна (от ее лица ведется повествование) и о ее одноглазой матери, профессиональной садовнице, одержимой тюльпанами. Мать и дочь ведут нормальную жизнь низов среднего класса в маленьком городке в Калифорнии, пока Анна не заболевает редкой формой рака крови.

Но это не книга о раке, потому что книги о раке — фигня. В книгах о раке больной раком открывает благотворительный фонд и собирает деньги на борьбу с раком. Занимаясь благотворительностью, больной видит, что человечество в принципе хорошее, и купается во всеобщей любви и поддержке, потому что оставит средства на лечение рака. А в «Царском недуге» Анна решает, что болеть раком и учреждать благотворительную ассоциацию для борьбы с раком чересчур отдает нарциссизмом, поэтому учреждает фонд под названием «Фонд Анны для онкологических больных, которые хотят бороться с холерой».

Анна обо всем говорит предельно честно, как никто: с самого начала и до последней страницы она абсолютно правильно причисляет себя к побочным эффектам. Дети с онкологией по сути своей — побочные эффекты безжалостной мутации, за счет которой жизнь на Земле так разнообразна. По мере развития сюжета Анне делается хуже — рак и лечение соревнуются, кто быстрее ее добьет, а тут еще мать Анны влюбляется в голландского торговца тюльпанами, которого Анна называет Тюльпановым Голландцем. У Тюльпанового Голландца много денег и крайне эксцентричные идеи насчет лечения рака; Анне кажется, что он проходимец и даже не голландец, но когда предполагаемый голландец и ее мать вот-вот поженятся, а Анна готова начать новый безумный курс лечения, включающий пырей ползучий и микродозы мышьяка, повествование обрывается на полуфразе.

Я знаю, это литературный прием, и, возможно, отчасти поэтому я так люблю эту книгу, но как-то приятнее читать роман, который чем-то заканчивается. А если не может закончиться, пусть продолжается до бесконечности, вон как приключения отряда старшего сержанта Макса Мейхема.

Я понимаю, что такой финал означает гибель или фатальное ухудшение состояния Анны, а оборванная фраза символизирует безвременно оборвавшуюся жизнь, но в книге есть и другие персонажи, кроме Анны, и мне показалось несправедливым не узнать, что с ними

сталось. Через издателя я направила Питеру ван Хутену дюжину писем, спрашивая, что произойдет потом: окажется ли Тюльпановый Голландец проходимцем, выйдет ли за него мать Анны, что случится с глупым хомяком девочки, которого ее мать терпеть не может, закончат ли подруги Анны школу, но ван Хутен не ответил ни на одно из моих писем.

«Царский недуг» — единственная книга Питера ван Хутена. Все, что о нем известно, — после выхода книги он переехал из Штатов в Нидерланды и с тех пор живет затворником. Долгое время я надеялась, что он работает над сиквелом, действие которого разворачивается в Нидерландах, — может, мать Анны и Тюльпановый Голландец переехали туда и начали новую жизнь, — однако после выхода «Царского недуга» прошло десять лет, а ван Хутен не опубликовал ничего, кроме постов в блоге. Я не могу ждать вечно.

В этот раз, перечитывая книгу, я представляла, как Огастус Уотерс пробегает глазами те же слова. Я гадала, понравится ли ему роман, или он пренебрежительно назовет книгу претенциозной. Вспомнив свое обещание позвонить, когда дочитаю «Цену рассвета», я открыла титульный лист с номером телефона и набрала сообщение:

«Резюме по „Цене рассвета“: слишком много трупов и мало прилагательных. Как тебе „Царский недуг“?»

Ответ пришел минутой позже:

«Насколько я помню, ты обещала позвонить, как дочитаешь, а не писать сообщение».

Я позвонила.

— Хейзел Грейс, — поприветствовал он, едва сняв трубку.

— Ну, так ты прочел?

— Еще не до конца. Здесь шестьсот пятьдесят одна страница, а у меня было всего двадцать четыре часа.

— И где ты сейчас?

— На четыреста пятьдесят третьей.

— И?

— Придержу свои суждения, пока не дочитаю. Однако, должен признаться, мне уже неловко, что я дал тебе «Цену рассвета».

— Не стоит, я уже читаю «Реквием по Мейхему».

— А-а, блестящее пополнение серии. Слушай, а торговец тюльпанами — мошенник? От него исходит неприятная вибрация.

— Не скажу, — ответила я.

— Если он не идеальный джентльмен, я ему глаза выдавлю.

— Значит, тебе понравилось?

— Повторяю, пока я придерживу свое мнение. Когда я тебя увижу?

— Ну уж никак не раньше, чем дочитаешь «Царский недуг», — произнесла я, наслаждаясь непривычным лукавством.

— Тогда я кладу трубку и начинаю читать.

— Давай-давай, — сказала я, и после щелчка линия стала мертвенно-тихой.

Флирт был мне в новинку, но понравился.

Наутро в колледже была лекция по американской поэзии двадцать первого века. Пожилая женщина, читавшая лекцию, умудрилась полтора часа говорить о Сильвии Плат, не процитировав ни строчки из Сильвии Плат.

Когда я вышла из колледжа, мама сидела в машине с работающим мотором напротив выхода.

— Ты что, ждала здесь все время? — спросила я, когда она поспешила помочь втащить тележку с баллоном в машину.

— Нет, я забрала вещи из химчистки и съездила на почту.

— А потом?

— У меня с собой книжка, — ответила она.

— А мне с собой нужна моя жизнь, — улыбнулась я. Мать попыталась улыбнуться в ответ, но улыбка получилась слабой.

Секунду спустя я поинтересовалась:

— В кино хочешь?

— Конечно. Что будем смотреть?

— Давай просто поедem туда, где можно сесть и дождаться следующего фильма.

Мать закрыла за мной дверцу, обошла машину и села за руль. Мы поехали к кинотеатру в «Каслтоне» и посмотрели фильм в формате 3D о говорящих песчанках. Забавный, кстати.

Выйдя из кино, я включила мобильный и получила сразу четыре сообщения от Огастуса:

«Скажи, что в твоей книге не хватает двадцати или более страниц».

«Хейзел Грейс, скажи, что это еще не конец романа».

«Боже мой, да поженились они или нет?! Боже, Боже, да что же это!»

«Я так понял, Анна умерла, и на этом все оборвалось? Жестоко. Позвони мне, когда сможешь. Надеюсь, все в порядке».

Добравшись домой, я вышла на задний дворик, присела на ржавый плетеный уличный стул и позвонила Огастусу. Был облачный день, типичный для Индианы, когда уютная погода словно обволакивает вас. Весь дворик занимали мои детские качели, мокрые и жалкие.

Огастус снял трубку на третьем гудке.

— Хейзел Грейс, — сказал он.

— Добро пожаловать в сладкую муку чтения «Царского...» — Я остановилась, услышав в трубке громкие рыдания. — Ты чего? — опешила я.

— Я-то ничего, — отозвался Огастус. — Но у Айзека, похоже, декомпенсация. — В трубке раздался вой, похожий на предсмертный крик раненого животного. Гас уговаривал Айзека: — Друг, друг, от Хейзел из группы поддержки тебе будет лучше или хуже? Айзек, слушай меня! — Через минуту Гас попросил: — Можешь подъехать ко мне домой минут через двадцать?

— Конечно, — ответила я и нажала отбой.

По прямой на машине от моего дома до Огастуса ехать было бы минут пять, но по прямой ехать нельзя, потому что между нами парк Холидей.

При всех географических неудобствах я люблю парк Холидей. Когда я была маленькой, я плескалась с папой в Уайт-ривер, ожидая чудесного момента, когда он подбрасывал меня в воздух, вот просто отбрасывал от себя, и в полете я раскидывала ручонки, папа тоже расставлял руки, и я видела, что никто меня не ловит, и мне и папе становилось ужасно страшно и весело, и я, болтая ногами, плюхалась в воду и выныривала невредимой, и течение относил меня обратно, и я просила: еще, папочка, еще!

Я остановилась у дома рядом со старой черной «тойотой»-седаном, принадлежавшей, как я поняла, Айзеку. Катя за собой тележку с баллоном, я подошла к двери и постучала. Открыл отец Гаса.

— Просто Хейзел, — сказал он. — Рад тебя видеть.

— Огастус попросил, чтобы я приехала.

— Да, они с Айзеком в подвале, — оттуда донесся вопль. — Это Айзек, — печально покачал головой папа Гаса. — Синди не выдержала и решила проехаться. Эти звуки... — задумался он. — Ну, тебя, наверное, ждут внизу. Поднести тебе, э-э, баллон?

— Нет, я справлюсь. Спасибо, мистер Уотерс.

— Марк, — поправил он.



Я немного боялась спускаться — я не очень люблю слушать безутешные истерики. Но я пошла вниз.

— Хейзел Грейс, — произнес Огастус, услышав мои шаги. — Айзек, к нам спускается Хейзел из группы поддержки. Хейзел, позволь осторожно напомнить: у Айзека как раз приступ психоза.

Огастус и Айзек сидели на полу за игровыми стульями в форме ленивой буквы L, глядя снизу вверх в гаргантюанских размеров телевизор. Экран был поделен между Айзеком слева и Огастусом справа. Они были солдатами и пробирались по современным разбомбленным улицам — я узнала город из «Цены рассвета». Подходя, я не заметила ничего необычного: два парня, освещенные отблеском огромного экрана, притворяются, что убивают людей.

Только поравнявшись с ними, я увидела лицо Айзека. Слезы струились по его покрасневшей щеке непрерывным потоком, лицо стянула гримаса боли. Он даже не взглянул на меня — смотрел на экран и выл, сопровождая себя ударами кулаков по пульта.

— Как дела, Хейзел? — спросил Огастус.

— Нормально, — ответила я. — Айзек?

Тишина. Айзек ничем не показал, что знает о моем присутствии. Слезы катились по щеке и капали на черную футболку.

Огастус мельком взглянул на меня, отведя глаза от экрана.

— Прекрасно выглядишь, — заметил он. Я была в старом платье чуть ниже колен. — Девчонки думают, что платья нужно надевать только на торжества, но мне нравятся женщины, которые говорят: я иду к парню, переживающему нервный срыв, к парню, у которого призрачная связь с чувством по имени зрение, и, черт меня побери, я надену для него платье!

— При этом, — сказала я, — Айзек на меня даже не смотрит. Он слишком влюблен в свою

Монику.

Это вызвало катастрофические рыдания.

— Чувствительная тема, — объяснил Огастус. — Айзек, не знаю, как у тебя, но у меня смутное ощущение, что нас обходят с флангов, — после этого он снова обратился ко мне: — Айзек и Моника больше не ходячая половая озабоченность, но он не хочет об этом говорить. Он хочет только плакать и играть в «Подавление восстания-2: Цена рассвета».

— Честно, — оценила я.

— Айзек, во мне растет беспокойство по поводу нашего положения. Если ты не против, иди к электростанции, я тебя прикрою.

Айзек побежал к неопределимому зданию, а Огастус бешено стрелял из пулемета короткими очередями и бежал за ним.

— В любом случае, — сказал мне Огастус, — поговорить с ним не повредит. Вдруг он прислушается к мудрому женскому совету.

— Вообще-то я считаю его реакцию совершенно правильной, — ответила я под треск автоматной очереди Айзека, который прикончил врага, высунувшего голову из-за сгоревшего пикапа.

Огастус кивнул.

— «Боль хочет, чтобы ее чувствовали», — процитировал он «Царский недуг». — Ты проверил, за нами никого? — спросил он Айзека. Через несколько секунд над их головами просвистели трассирующие пули. — Да черт тебя побери, Айзек! — воскликнул Огастус. — Не хочу критиковать тебя в момент великой слабости, но ты дал обойти нас с флангов, и теперь для террористов школа как на ладони!

Солдат Айзека сорвался с места и побежал навстречу стреляющим, петляя по узкой улочке.

— Ты можешь перейти по мосту и кружным путем вернуться, — подсказала я, набравшись тактических знаний из «Цены рассвета».

Огастус вздохнул:

— К сожалению, мост уже в руках повстанцев. Это результат сомнительной стратегии моего опечаленного соратника.

— Моей? — задыхаясь, завопил Айзек. — Моей? Это ты предложил укрыться в чертовой электростанции!

Гас на секунду отвернулся от экрана и улыбнулся Айзеку уголком рта.

— Я знал, что ты можешь говорить, приятель, — сказал он. — А теперь пошли спасать горстку ненастоящих школьников.

Они вдвоем побежали по переулку, стреляя и прячась в нужные моменты, пока не подобралась к одноэтажной однокомнатной школе. Присев за стеной через улицу, они снимали врагов одного за другим.

— А чего они так рвутся в школу? — спросила я.

— Хотят взять детей в заложники, — ответил Огастус, ссутулившись над своим пультом и с силой нажимая на кнопки. Его предплечья напряглись, на руках проступили вены. Айзек весь подался к экрану, пульт так и танцевал в его тонких пальцах.

— Давай, давай, давай, — повторял Огастус.

Волны террористов набегали одна за другой, и они скашивали всех до единого, стреляя на

удивление точно, чтобы не давать террористам палить в школу через окна.

— Граната! Граната! — заорал Огастус, когда на экране что-то пролетело по дуге, отскочило от двери школы и немного откатилось в сторону.

Айзек разочарованно бросил пульт.

— Если эти гады не могут взять заложников, они просто убивают их и обвиняют в этом нас.

— Прикрой меня, — сказал Огастус, выпрыгивая из-за стены и бегом кинувшись к школе. Айзек нащупал свой пульт и начал стрелять. Град пуль обрушился на Огастуса, который был ранен раз, другой, но продолжал бежать.

— Вам не убить Макса Мейхема! — закричал Огастус и, помудрив что-то с кнопками — пальцы так и мелькали, — бросился ничком на гранату, которая взорвалась под ним. Его тело разлетелось на части, кровь брызнула, как из гейзера, и экран окрасился красным. Хриплый голос сообщил: «Миссия провалена», но Огастус, видимо, считал иначе, потому что улыбнулся собственным останкам. Затем он сунул руку в карман, выудил оттуда сигарету, сунул ее в рот и зажал зубами. — Зато детей спас.

— Временно, — напомнила я.

— Всякое спасение временно, — парировал Огастус. — Я купил им минуту. Может, эта минута купит им час, а час купит им год. Никто не даст им вечную жизнь, Хейзел Грейс, но ценой моей жизни теперь у них есть минута, а это уже кое-что.

— Ничего себе загнул, — сказала я. — Речь-то идет о пикселях.

Он пожал плечами, словно верил, что игра может быть реальностью. Айзек снова зарыдал. Огастус тут же повернул к нему голову.

— Попробуем еще раз, капрал?

Айзек покачал головой. Он перегнулся через Огастуса и, борясь со спазмом в горле, выдавил, обращаясь ко мне:

— Она решила не откладывать на потом.

— Она не хотела бросать слепого парня? — уточнила я. Айзек кивнул. Слезы непрерывно катились по его лицу — одна за другой, словно работал некий беззвучный метроном.

— Сказала, ей это не под силу, — признался он мне. — Я вот-вот потеряю зрение, а ей это не под силу!

Я думала о слове «сила» и обо всем непосильном, с чем хватает сил справиться.

— Мне очень жаль, — произнесла я.

Он вытер мокрое лицо рукавом. За стеклами очков глаза Айзека казались такими огромными, что остальное лицо словно исчезало, и на меня смотрели два плавающих в пространстве глаза — один настоящий и один стеклянный.

— Так же нельзя поступать, — сказал он мне. — Как она могла?

— Ну, честно говоря, — ответила я, — ей это, наверное, действительно не под силу. Тебе тоже, но у нее нет прямой необходимости пересиливать ситуацию. А у тебя есть.

— Я напомнил ей о «всегда», повторял «всегда, всегда, всегда», а она говорила свое, не слушая меня, и не отвечала. Будто я уже умер, понимаешь? «Всегда» было обещанием! Как можно нарушать слово?

— Иногда люди не придают значения данным обещаниям, — заметила я.

Айзек гневно взглянул на меня:

— Конечно. Но слово все равно держат. В этом заключается любовь. Любовь значит выполнять обещанное в любом случае. Или ты не веришь в настоящую любовь?

Я не ответила. У меня не было ответа. Но я подумала, что если настоящая любовь существует, то предложенное Айзеком толкование определяет ее очень точно.

— Ну а я верю в любовь, — сказал Айзек. — Я люблю ее. Она обещала. Она обещала мне «всегда». — Он встал и шагнул ко мне. Я тоже встала, решив, что он хочет броситься мне в объятия, но Айзек вдруг огляделся, будто забыв, для чего поднялся, и мы с Огастусом увидели на его лице ярость.

— Айзек, — позвал Гас.

— Что?

— Ты выглядишь несколько... Прости мне некоторую двусмысленность, друг мой, но в твоих глазах появилось что-то пугающее.

Неожиданно Айзек изо всей силы пнул свой игровой стул, и тот, перекувыркнувшись в воздухе, отлетел к кровати.

— О как, — сказал Огастус.

Айзек погнался за стулом и пнул его снова.

— Да, — поддержал Огастус. — Вломи ему. Бей этот стул до полусмерти!

Айзек пнул стул еще раз, так что тот ударился о кровать, затем схватил одну из подушек и начал лупить ею по стене между кроватью и полкой с призами.

Огастус посмотрел на меня, все еще держа в зубах сигарету, и улыбнулся краем рта:

— Не могу не думать о твоей книге.

— Знаю, со мной было так же.

— Он так и не написал, что случилось с остальными персонажами?

— Нет, — ответила я. Айзек по-прежнему избивал стену подушкой. — Он переехал в Амстердам. Я думала, может, он пишет сиквел о Тюльпановом Голландце, но он ничего не опубликовал. Не дает интервью, не бывает онлайн. Я написала ему гору писем, спрашивая, что с кем случилось, но он так и не ответил. Так что... — Я перестала говорить, потому что Огастус вроде бы не слушал. Он внимательно смотрел на Айзека.

— погоди, — тихо сказал он мне, подошел к Айзеку и взял его за плечи: — Приятель, подушки небьющиеся. Попробуй что-нибудь другое.

Айзек схватил баскетбольную награду с полки над кроватью и занес ее над головой, словно ожидая команды.

— Да! — оживился Огастус. — Да!

Статуэтка ударилась об пол, и у пластмассового баскетболиста отвалилась рука с мячом. Айзек принялся топтать осколки ногами.

— Да, — приговаривал Огастус. — Дай им! — И снова мне: — Я уже давно искал способ дать отцу понять, что ненавижу баскетбол, и, кажется, сегодня он нашелся.

Призы летели на пол один за другим, Айзек плясал на них, с силой топая и вопя, а мы с Огастусом, свидетели безумия, стояли поодаль. Бедные искореженные тела пластиковых

баскетболистов усеяли ковровое покрытие: там мяч, оставшийся в оторванной руке, здесь две ноги без туловища, замершие в прыжке. Айзек крушил призы, прыгал на них, крича, задыхаясь, потя, пока наконец не рухнул на гору неровных пластиковых обломков.

Огастус подошел к нему и поглядел сверху вниз.

— Полегчало? — поинтересовался он.

— Нет, — буркнул Айзек, тяжело дыша.

— В том-то и дело, — сказал Огастус и взглянул на меня. — Боль хочет, чтобы ее чувствовали.

## Глава 5

Я не разговаривала с Огастусом почти неделю. Я звонила ему в Ночь разбитых наград, и теперь по традиции была его очередь. Но он не звонил. Не думайте, что я целыми днями держала мобильник в потной ладошке и не сводила с него взгляд и по утрам надевала свое особое желтое платье, терпеливо ожидая, пока мой вызывающий абонент и настоящий джентльмен дорастет до своего имени.[3] Я вела привычную жизнь: разок выпила кофе с Кейтлин и ее бойфрендом (красив, но до Огастуса ему далеко), каждый день переваривала прописанную дозу фаланксифора, посетила три утренних лекции в колледже, а по вечерам ужинала с мамой и папой.



В воскресенье мы ели пиццу с зеленым перцем и брокколи, сидя на кухне за маленьким круглым столом, как вдруг зазвонил мой сотовый. Мне не позволили кинуться отвечать, потому что у нас в семье строгое правило — «никаких звонков во время ужина».

Поэтому я продолжила есть, а мама с папой говорили о землетрясении, случившемся в Папуа — Новой Гвинее. Они познакомились в Корпусе мира в Папуа — Новой Гвинее, и всякий раз, как только там что-нибудь происходило, пусть даже трагедия, мама с папой из крупнотелых домоседов снова превращались в юных идеалистов, самодостаточных и волевых, и сейчас они настолько были поглощены разговором, что даже не глядели на меня. Я ела быстрее, чем когда-либо в жизни, метала куски с тарелки в рот так неистово, что начала задыхаться. Я перепугалась: неужели это из-за того, что мои легкие снова плавают в скопившейся жидкости? Я старательно отогнала от себя эту мысль. Через пару недель меня ожидало сканирование. Если что-нибудь не так, я скоро узнаю, а пока все равно нет смысла волноваться.

И все же я волновалась. Мне нравилось быть человеком. Я за это держалась. Волнение — еще один побочный эффект умирания.

Наконец я доела, извинилась и встала из-за стола. Родители даже не прервали разговор о плюсах и минусах инфраструктуры Гвинее. Я выхватила мобильный из сумки, валявшейся на кухонном столе, и проверила последние входящие. Огастус Уотерс.

Я вышла через заднюю дверь в сумерки. Увидев качели, подумала: «Может, покачаться, пока буду говорить с ним?» Но побоялась не дойти — меня порядком утомила еда.

Поэтому я улеглась на траву у края патио, нашла глазами Орион — единственное созвездие, которое я знаю, — и позвонила Огастусу.

— Хейзел Грейс, — произнес он.

— Привет, — ответила я. — Как дела?

— Прекрасно, — сказал он. — Я все время хотел тебе позвонить, но выжидал, пока у меня сформируется связное мнение в отношении «Царского недуга».

(Он так и сказал — «в отношении». Вот это парень!)

— И? — спросила я.

— Я думаю, она, ну, читая ее, я чувствовал, что, ну...

— Ну что? — поддразнила я.

— Будто это подарок? — вопросительно сказал он. — Будто ты подарила мне что-то важное.

— Оу, — негромко вырвалось у меня.

— Пафосно прозвучало, — признал он. — Извини.

— Нет, — сказала я. — Нет. Не извиняйся.

— Но она ничем не заканчивается.

— Верно, — согласилась я.

— Китайская пытка. Я понял, что она умерла или потеряла сознание.

— Да, я тоже так предполагаю.

— Ладно, все это честно, но ведь существует же неписанный контракт между автором и читателем! По-моему, неоконченный сюжет — это своего рода нарушение контракта.

— Не знаю, — недовольно начала я, готовая защищать Питера ван Хутена. — Отчасти именно поэтому я так люблю эту книгу. Здесь правдиво изображена смерть — человек умирает, не дожив, на полужизне. Хотя я тоже очень хочу узнать, что случилось с остальными. Об этом я спрашивала в письмах, но он ни разу не ответил.

— Ясно. Ты говорила, он живет затворником?

— Правильно.

— Его невозможно найти?

— Правильно.

— И совершенно невозможно связаться? — уточнил Огастус.

— К сожалению, нет.

— «Уважаемый мистер Уотерс, — ответил он. — Спешу поблагодарить вас за электронное письмо, полученное мною шестого апреля через мисс Влигентхарт из Соединенных Штатов Америки, если география еще что-нибудь значит в нашей с большой помпой оцифрованной современности».

— Огастус, что ты несешь?

— У него есть помощница, — сказал Огастус. — Лидевью Влигентхарт. Я ее нашел и написал. Она передала письмо ван Хутену. Он ответил с ее электронного адреса.

— Ясно, понятно, читай дальше.

— «Свой ответ я по старой доброй традиции пишу чернилами и на бумаге. Позже эти строки, переведенные мисс Влигентхарт в длинный ряд единиц и нулей, отправятся в путь по

бездушной Паутине, в которую не так давно попался наш биологический вид. Заранее извиняюсь за все ошибки и упущения, которые могут последовать.

Учитывая вакханалию развлечений, открытых вашему поколению, я благодарен каждому молодому человеку в любом уголке планеты, уделяющему целые часы моему скромному произведению. Вам, сэр, я глубоко признателен за добрые слова о „Царском недуге“ и любезное уведомление, что эта книга, цитирую дословно, „значила“ для Вас „хренову тучу“.

Эта фраза заставила меня задуматься: что Вы имели в виду, написав „значила“? Коль скоро мы видим безнадежную тщету всякой борьбы, должно ли нам ценить скоропреходящее потрясение, которое дает нам искусство, или же его единственной ценностью следует считать наивозможнейше приятное препровождение времени? Чем должна быть книга, Огастус? Тревожной сиреной? Призывом к оружию? Инъекцией морфия? Как и все вопросы во Вселенной, эти неизбежно приведут нас к истокам: что означает быть человеком и, заимствуя фразу у страдаемых тревогой за будущее шестнадцатилетних, которых Вы, несомненно, гневно осуждаете, — на кой все это нужно?

Боюсь, что смысла в существовании человечества нет, друг мой, и от дальнейшего знакомства с моими трудами Вы получили бы весьма скудное удовольствие. Отвечаю на ваш вопрос: больше я ничего не написал и не напишу. И далее делиться мыслями с читателями вряд ли будет полезно: и им, и мне. Еще раз благодарю за Ваш великодушный и-мейл.

Преданный вам Питер ван Хутен (через Лидевью Влигентхарт)».

— Вау, — сказала я. — Сам придумал?

— Хейзел Грейс, как бы я с моими скромными интеллектуальными возможностями сочинил бы письмо от имени Питера ван Хутена с перлами вроде «с большой помпой оцифрованной современности»?

— Не осилил бы, — признала я. — А можно, а можно мне его электронный адрес?

— Ну конечно, — ответил Огастус, будто и не сделал мне только что лучший в жизни подарок.

Следующие два часа я составляла и-мейл Питеру ван Хутену. По мере вносимых исправлений письмо становилось все хуже, но остановиться я уже не могла.

Уважаемому г-ну Питеру ван Хутену (через Лидевью Влигентхарт).

Меня зовут Хейзел Грейс Ланкастер. Мой друг Огастус Уотерс, который по моей рекомендации прочитал «Царский недуг», только что получил от вас и-мейл на этот адрес. Надеюсь, Вы не станете возражать, что Огастус поделился содержанием Вашего ответа со мной.

Мистер ван Хутен, из Вашего письма Огастусу я поняла, что Вы не планируете больше писать. Отчасти я разочарована, но одновременно испытываю облегчение: не придется волноваться, станет ли Ваша следующая книга вровень с величественным совершенством дебютной. На правах больной с трехлетним стажем четвертой стадии рака я утверждаю, что в «Царском недуге» Вы все поняли правильно. По крайней мере Вы абсолютно правильно поняли меня. Ваша книга объяснила мне, что я чувствую, еще до того, как я начала это чувствовать. Я перечитывала ее десятки раз.

И все же решаюсь спросить у Вас, что произойдет с действующими лицами после окончания романа. Я понимаю, книга обрывается, потому что Анна умирает или из-за тяжести своего состояния не может продолжать описывать происходящее, но мне очень хочется знать, что будет с матерью Анны. Выйдет ли она замуж за Тюльпанового Голландца, будут ли у нее еще дети и будет ли она по-прежнему жить по адресу 917, Вестерн Темпл? А Тюльпановый Голландец, он мошенник или правда их любит? Что будет с друзьями Анны, особенно с Клэр и Джейком? Они останутся вместе? И наконец, самый глубокий и умный вопрос, которого Вы, несомненно, давно ждали от читателей: что станет с хомяком Сисифусом? Эти вопросы не дают мне покоя уже несколько лет, и я не знаю, сколько у меня еще есть времени ждать ответов.

Разумеется, все перечисленное нельзя отнести к важнейшим проблемам литературы, которые поднимает Ваша книга, но мне просто очень хочется знать.

И если когда-нибудь Вы все же решите написать что-то еще, даже без намерения опубликовать, я бы очень хотела это прочесть. Клянусь, я готова читать даже Ваши списки покупок.

С безмерным восхищением

Хейзел Грейс Ланкастер (16 лет).

Отослав письмо, я снова позвонила Огастусу, и мы до ночи говорили о «Царском недуге». Я прочла ему стих Эмили Дикинсон, строку из которого ван Хутен взял в качестве названия для романа,[4] и Огастус сказал, что у меня хороший голос для декламации и я недолго останавливаюсь в конце строк, а потом добавил, что шестая книга из серии «Цена рассвета» — «Утверждено кровью» — тоже начинается со стиха. Минуту он искал книгу и наконец прочел:

— Признайся, жизнь не удалась: / Ведь ты не можешь вспомнить, / Когда в последний раз / Поцеловал кого-нить.

— Неплохо, — сказала я. — Но слегка претенциозно. Надеюсь, Макс Мейхем назовет стишок «дерьмом для неженки».

— Ага, сквозь стиснутые зубы. Слушай, Мейхем то и дело скрипит зубами! Он заработает себе синдром Костена,[5] если выйдет живым из этой передраги. — И через секунду Гас спросил: — А ты когда в последний раз целовалась?

Я задумалась. Мои поцелуи — все случилось до диагноза — были слюнявыми и неловкими, с ощущением, что мы, дети, играем во взрослых. Но времени, конечно, прошло много.

— И не вспомнить, — ответила я наконец. — А ты?

— Я сорвал несколько хороших поцелуев с моей бывшей подружкой Каролин Мэтерс.

— Сто лет назад?

— Последний — менее чем год назад.

— А что произошло?

— Во время поцелуя?

— Нет, у тебя с Каролин.

— О, — сказал Гас. И через секунду ответил: — Каролин уже не страдает от пребывания в брэнном теле.

— О-о, — вырвалось у меня.

— Да.

— Прости, — быстро произнесла я.

Я знаю много умерших, но никогда ни с одним не встречалась. Даже представить себе такого не могу.

— Это не твоя вина, Хейзел Грейс. Все мы лишь побочные эффекты, верно?

— «Колония морских рачков на грузовом судне сознания», — процитировала я «Царский недуг».

— Ну ладно, — сказал он. — Пойду, пожалуй, спать. Уже час ночи.

— Ладно, — согласилась я.

— Ладно, — откликнулся он.

Я засмеялась и еще раз сказала:

— Ладно.

И в трубке стало тихо, хотя он и не нажал отбой. Мне даже показалось, что он здесь, в моей комнате. Даже еще лучше: будто я не в моей комнате, а он не в своей, и мы где-то в другом месте, призрачном и эфемерном, которое можно посетить только по телефону.

— Ладно, — сказал он спустя целую вечность. — Может, «ладно» станет нашим «всегда».

— Ладно, — отозвалась я.

И тогда Огастус наконец повесил трубку.

Когда Огастус написал Питеру ван Хутену, то получил ответ от него уже через четыре часа. Мне же не пришлось ничего и через два дня. Огастус убеждал меня, что просто мое письмо лучше и поэтому требует более продуманного ответа, что ван Хутен, очевидно, старательно составляет пояснения к моим вопросам, и на создание столь блестящей прозы нужно время. Но я все равно переживала.

В среду на лекции по американской поэзии для чайников я получила сообщение от Огастуса:



«Айзека прооперировали. Операция прошла хорошо. Теперь он официально БПР».

БПР означает «без признаков рака». Второе сообщение пришло через несколько секунд:

«Я имел в виду, теперь он слепой. Так что все плохо».

Днем мама согласилась одолжить мне машину, и я поехала в «Мемориал» навестить Айзека.

Я нашла его палату на пятом этаже, постучала в открытую дверь, и услышала женский голос:

— Войдите.

Это была медсестра, которая что-то делала с повязками на глазах Айзека.

— Привет, Айзек, — сказала я.

— Моника? — спросил он.

— Нет, прости, это, э-э, Хейзел из группы поддержки. Помнишь Хейзел и Ночь разбитых призов?

— А-а, — протянул он. — Да, мне все повторяют, что в качестве компенсации у меня обострятся остальные чувства, но пока все по-прежнему. Привет, Хейзел из группы поддержки! Подойди, чтобы я ощупал твое лицо руками и заглянул тебе в душу глубже, чем могут зрячие.

— Он шутит, — уточнила медсестра.

— Я поняла, — откликнулась я.

Подкатив стул к кровати, я села и взяла Айзека за руку.

— Привет, — сказала я.

— Привет, — ответил он и долго молчал.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила я.

— Нормально, — произнес он. — Я не понимаю.

— Чего не понимаешь? — Я не хотела видеть повязки у него на глазах, поэтому смотрела не на лицо, а на руку. Айзек грыз ногти, и кое-где в уголках кутикулы проступила кровь.

— Она даже не приходила, — пояснил он. — Мы были вместе четырнадцать месяцев. Четырнадцать — это много. Блин, больно! — Айзек отпустил мою руку и нащупал кнопку обезболивания, которую надо нажимать, чтобы ввести себе инъекцию наркотика.

Медсестра, закончив менять повязку, отступила на шаг.

— Прошел всего один день, Айзек, — сказала она чуть снисходительно. — Дай себе время выздороветь. Четырнадцать месяцев — малая часть жизни. Все только начинается, приятель, сам увидишь.

Медсестра вышла.

— Она ушла?

Я кивнула, но спохватилась, что Айзек меня не видит.

— Да, — ответила я.

— Я сам увижу? Она правда так сказала?

— Качества хорошей медсестры... Начинай, — предложила я.

— Первое: не сочиняет каламбуров о твоём увечье, — сказал Айзек.

— Второе: берет кровь с первой попытки, — продолжила я.

— Да, это большое дело. Это же моя рука, а не мишень для дротиков, скажи? Третье: не позволяет себе снисходительный тон.

— Как твои дела, миленький? — приторно заворковала я. — Я сейчас воткну в тебя иголочку, будет чуть-чуть ой-ой...

— Бо-бо моему манинькому сюсечке? — подхватил он. И через секунду добавил: — Большинство из них нормальные. Я просто очень хочу свалить отсюда на фиг.

— Отсюда — это из больницы?

— И это тоже, — ответил он. Айзек напрягся. Я видела, как ему больно. — Честно говоря, я гораздо больше думаю о Монике, чем о моем глазе. Это идиотизм? Идиотизм.

— Идиотизм, — согласилась я.

— Но я верю в настоящую любовь, понимаешь? Люди теряют глаза, заболевают черт-те чем, но у каждого должна быть настоящая любовь, которая длится минимум до конца жизни!

— Да, — подтвердила я.

— Иногда мне хочется, чтобы этого со мной никогда не случилось. Рака, я имею в виду. — Его речь немного плыла. Лекарство действовало.

— Мне очень жаль, — сказала я.

— Гас уже приходил. Он был здесь, когда я проснулся. Отпросился из школы. Он... — Голова Айзека свесилась набок. — Легче.

— Боль отпускает? — уточнила я. Он едва заметно кивнул.

— Хорошо, — одобрила я и, как настоящая стерва, тут же спросила: — Ты что-то говорил о Гасе...

Но Айзек уже спал.

Я спустилась вниз, в крохотный сувенирный магазинчик без окон и спросила дряхлую волонтершу, сидевшую на табурете за кассой, какие цветы пахнут сильнее всех.

— Все пахнут одинаково. Их опрыскивают «Суперзапахом», — пояснила она.

— Правда?

— Да, пшикают на них из флакона, и все.

Я открыла холодильник слева от нее, перенюхала десяток роз, а потом нагнулась над гвоздиками. Тот же запах, и очень густой. Гвоздики были дешевле, и я взяла дюжину желтых. Это стоило четырнадцать долларов. Я вернулась в палату Айзека. Там уже сидела его мать, держа сына за руку. Она была молода и очень красива.

— Ты его подруга? — спросила она, озадачив меня одним из широких по смыслу вопросов без ответа.

— М-м, да, — ответила я. — Я из группы поддержки. Это ему.

Она взяла гвоздики и положила себе на колени.

— Ты знаешь Монику? — спросила она.

Я покачала головой.

— Он спит, — произнесла она.

— Да. Я с ним говорила во время перевязки.

— Я не хочу оставлять его одного, но нужно было забрать Грэма из школы, — объяснила она.

— Он держится молодцом, — сказала я. Женщина кивнула. — Пускай спит, я пойду.

Она снова кивнула, и я ушла.

\* \* \*

На следующее утро я проснулась рано и первым делом проверила электронную почту.

Долгожданный ответ с lidewij.vliegentharn@gmail.com наконец-то пришел.

Дорогая мисс Ланкастер!

Боюсь, Вы верите в не заслуживающее доверия, хотя для веры это не редкость. Я не могу ответить на Ваши вопросы письменно, потому что это бы означало написать ответы сиквел к «Царскому недугу», который Вы можете опубликовать или разместить в Паутине, заменив мозги Вашему поколению. Существует телефон, но Вы можете записать разговор. Не подумайте, что я Вам не доверяю, но я Вам не доверяю. Увы, дорогая Хейзел, я не отвечаю на подобные вопросы иначе как лично, но Вы там, а я здесь.

Должен признаться, что Ваше неожиданное письмо, полученное через мисс Влигентхарт, немало меня порадовало: как удивительно сознавать, что я сделал для Вас что-то полезное. А между тем собственная книга кажется мне настолько далекой, будто ее написал кто-то другой (автор «Царского недуга» был таким худеньким, таким хрупким, таким сравнительно оптимистичным!).

Но если волею судеб Вы окажетесь в Амстердаме, милости прошу ко мне в Ваше свободное время. Обычно я всегда дома. Я даже покажу Вам мои списки покупок.

Искренне ваш

Питер ван Хутен через Лидевью Влигентхарт.

— Что?! — закричала я. — Да что это за жизнь такая?! Мама вбежала в комнату:

— Что случилось?

— Ничего! — заверила я.

Обеспокоенная, мама опустилась на колени проверить, нормально ли Филипп сжижает кислород. Я представила, как сижу в залитом солнцем кафе с Питером ван Хутеном, а он перегнулся через стол, опираясь на локти, и тихо, чтобы никто не расслышал, говорит, что случилось с персонажами, о которых я думаю несколько лет. Он написал, что ответит только лично, и пригласил меня в Амстердам. Я объяснила это маме и сказала:

— Я должна поехать.

— Хейзел, я люблю тебя, я все для тебя сделаю, но у нас нет, просто нет денег на трансатлантические перелеты и перевозку оборудования. Детка, это не...

— Да, — оборвала я ее, понимая, что глупо было даже думать о поездке. — Забудь об этом.

Но мать выглядела взволнованной.

— Это правда для тебя важно? — спросила она, присаживаясь рядом и положив руку мне на ногу.

— Как замечательно было бы стать единственным человеком, кроме автора, знающим, что случилось дальше, — проговорила я.

— Да, это было бы потрясающе, — согласилась мать. — Я поговорю с твоим отцом.

— Не надо, — сказала я. — Не трать на это деньги. Я что-нибудь придумаю.

Мне вдруг пришло в голову, что причина, почему у родителей нет денег, во мне. На меня ушли все семейные сбережения из-за доплат за фаланксифор, не покрываемый страховкой, а

мать не может пойти на работу, потому что теперь ее профессия — круглосуточно надо мной трястись. Еще только в долги их вогнать не хватало.

Я сказала маме, что хочу позвонить Огастусу. Мне хотелось, чтобы она вышла из комнаты, потому что я не могла видеть ее опечаленное лицо «я не могу исполнить мечту своей дочери».

Подражая Огастусу Уотерсу, я прочитала ему письмо ван Хутена вместо приветствия.

— Вау, — сказал он.

— Это я и без тебя знаю, — отозвалась я. — Как я в Амстердам-то попаду?

— У тебя Желание осталось? — спросил он, имея в виду фонд «Джини», который занимается тем, что исполняет неизлечимо больным детям по одному желанию.

— Нет, — заверила я. — Я его использовала еще до Чуда.

— И что пожелала?

Я звучно вздохнула:

— Ну, мне тринадцать лет было...

— Только не Дисней! — взмолился Огастус.

Я промолчала.

— Ну не в Диснейленд же ты съездила?!



Я снова промолчала.

— Хейзел Грейс! — закричал он. — Не использовала же ты последнее желание умирающего, чтобы смотаться в парк Диснея с родителями?!

— И в Эпкот-центр тоже, — пробормотала я.

— Боже мой, — сказал Огастус. — Поверить не могу, что влюбился в девчонку с такими стандартными мечтами!

— Мне было тринадцать, — повторила я, хотя в ушах отдавалось «влюбился-влюбился-влюбился». Мне это польстило, и я тут же сменила тему: — Слушай, а что это ты не в школе?

— Смылся, чтобы побыть с Айзеком, но он спит, и я в коридоре делаю геометрию.

— Как он там? — спросила я.

— То ли он еще не готов осознать всю серьезность своей инвалидности, то ли его действительно больше волнует, что его бросила Моника, но ни о чем другом он не говорит.

— Да уж. Сколько ему еще быть в больнице?

— Всего несколько дней. Потом курс реабилитации, но ночевать он будет дома.

— Фигово, — сказала я.

— Так, я вижу его мать. Мне пора.

— Ладно, — сказала я.

— Ладно, — отозвался он. Я так и слышала его асимметричную улыбку.

В субботу я с родителями поехала на фермерский рынок в Броуд-рипл. День был солнечный, для Индианы в апреле — редкость, и все на рынке ходили в рубашках с коротким рукавом и футболках, хотя воздух еще толком не прогрелся. Мы, простаки и деревенщины из Индианы, всякий раз встречаем лето с избыточным оптимизмом. Мы с мамой сели на скамейку напротив мужчины в рабочем халате, варившего суп из гусятины; ему приходилось объяснять каждому проходящему, что гуси его собственные и гусиный суп гусями не пахнет.

У меня зазвонил мобильный.

— Кто это? — спросила мама, хотя я еще не успела посмотреть.

— Не знаю, — сказала я. Впрочем, это был Гас.

— Ты сейчас дома? — поинтересовался он.

— М-м, нет, — ответила я.

— Вопрос был каверзный. Я знаю ответ, я сейчас у вашего дома.

— Оу! Хм. Ну, мы уже едем.

— Отлично. До встречи.

Огастус Уотерс сидел на крыльце с букетом ярко-оранжевых тюльпанов, которые только начали зацветать. Сегодня он явился в джемпере «Индиана Пейсерс» и флисовой куртке. Выбор гардероба показался мне совершенно неожиданным, хотя Огастусу все очень шло. Оттолкнувшись, он встал и протянул мне тюльпаны со словами:

— На пикник поехать хочешь?

Я кивнула, взяв тюльпаны.

Папа вышел из-за моей спины и пожал Гасу руку.

— У тебя на фуфайке Рик Смитс? — спросил он.

— Да.

— Боже, как я любил этого парня! — воскликнул папа, и они с Гасом тут же затеяли беседу о баскетболе, которую я поддержать не могла (и не хотела), поэтому понесла тюльпаны в дом.

— Хочешь, я поставлю их в вазу? — спросила мама, широко улыбаясь.

— Нет-нет, все нормально, — ответила я.

Если поставить тюльпаны в вазу в гостиной, они будут общими цветами. А я хотела, чтобы они были только мои.

Я пошла к себе в комнату, но переодеваться не стала. Я причесалась, почистила зубы, тронула губы блеском и едва коснулась кожи крышечкой от духов. Я не сводила глаз с тюльпанов. Они были агрессивно-оранжевые, почти что слишком оранжевыми, чтобы быть красивыми. У меня не было ни вазы, ни банки, поэтому я вынула зубную щетку из стаканчика, наполовину наполнила его водой и оставила цветы в ванной.

Снова выйдя в свою комнату, я услышала голоса и посидела немного на краешке кровати, слушая разговор через полуоткрытую дверь.

Папа: Так вы с Хейзел познакомились в группе поддержки?

Огастус: Да, сэр. Какой у вас прелестный дом и прекрасные рисунки!

Мама: Спасибо, Огастус.

Папа: Значит, ты тоже болел?

Огастус: Да, сэр, ногу я отрезал не из чистого удовольствия, хотя это неплохой способ потери веса. Ноги, они тяжелые!

Папа: А как сейчас твое здоровье?

Огастус: БПР уже четырнадцать месяцев.

Мама: Какая прелесть! Возможности медицины в наши дни — это что-то невероятное!

Огастус: Я знаю. Мне повезло.

Папа: Ты должен понимать, что Хейзел по-прежнему больна, Огастус, и будет больна остаток жизни. Она не хочет от тебя отставать, но ее легкие...

На этом я вышла в гостиную, и папа замолчал.

— Так куда же вы поедете? — спросила мама.

Огастус встал, наклонился к ее уху, прошептал ответ и прижал палец к губам.

— Ш-ш, это секрет.

Мама улыбнулась.

— Телефон взяла? — спросила она меня.

Я повертела мобильный в руке в качестве доказательства, взялась за ручку тележки и пошла. Огастус поспешил меня догнать и предложить руку, на которую я оперлась, обхватив пальцами его бицепс.

К сожалению, он сел за руль — сюрприз должен быть сюрпризом. Пока мы рывками продвигались к неведомой цели, я сказала:

— Ты очаровал мою мать до потери пульса.

— Да, а твой папа фанат Смитса, это тоже помогло. Думаешь, я им понравился?

— Еще как. Хотя кого это волнует, они ведь всего лишь родители.

— Они твои родители, — сказал Огастус, бросив на меня взгляд. — К тому же я люблю нравиться. Это неправильно?

— Ну, нет никакой необходимости кидаться придерживать двери или осыпать комплиментами, чтобы понравиться мне, — заметила я.

Огастус резко ударил по тормозам, и я чуть не улетела вперед; дыхание ненадолго стало затрудненным и хаотичным. Я подумала о позитронной томографии. Не волнуйся.

Волноваться бесполезно. Но я все равно волновалась.

Покрышки оставили на асфальте черные следы, когда мы, взревев мотором, умчались от знака остановки и повернули налево к так называемому (непонятно, за какие заслуги) Грандвью (оттуда открывается вид на поле для гольфа). Единственное, что я знала в этом направлении, — это кладбище. Огастус сунул руку в центральную консоль, открыл полную пачку сигарет и вынул одну.

— Ты их вообще выбрасываешь? — спросила я.

— Одно из многочисленных преимуществ жизни без табака в том, что пачки сигарет хватает на неопределенный срок, — ответил он. — Эта у меня почти год. Несколько сигарет сломались у фильтра, но я считаю, что этой пачки мне легко хватит до восемнадцати лет. — Он подержал фильтр пальцами и сунул сигарету в рот. — Ну ладно. Ладно. Назови то, чего ты никогда не видела в Индианаполисе.

— Хм. Стройных взрослых, — ответила я.

Он засмеялся:

— Хорошо. Продолжай.

— Ну, пляжей. Семейных ресторанов. Топографии.

— Прекрасные примеры наших недостатков. Прибавь сюда культуру.

— Да, с культурой у нас напряженно, — признала я, начиная понимать, куда он меня везет.

— Мы что, едем в музей?

— Ну, можно и так сказать.

— Или мы едем в тот парк?

Гас разочарованно вздохнул.

— Да, мы едем в тот парк, — сказал он. — Ты уже догадалась, что ли?

— О чем догадалась?

— Ни о чем.

Позади музея располагался парк с гигантскими скульптурами. Я слышала о нем, но никогда не бывала. Мы проехали мимо музея и остановились у баскетбольной площадки, заполненной огромными синими и красными стальными арками, изображавшими траекторию передаваемого мяча.

Мы спустились вниз с того, что в Индианаполисе сойдет за холм, на поляну, где дети карабкались и ползали по огромному скелету. Ребра были мне примерно до пояса, а бедренная кость выше моего роста. Скульптура выглядела как детский рисунок, где скелет поднимается из земли.

У меня болело плечо. Я боялась, что из легких пошли метастазы. Я представляла, как раковая опухоль, скользкий угорь с вероломными намерениями, прорастает в кости, оставляя дыры в моем скелете.

— «Сексуальные кости», — начал Огастус. — Скульптура работы Джоупа ван Лисхута.

— Голландец, что ли?

— Да, — подтвердил Гас. — Как и Рик Смитс. Как и тюльпаны. — Гас остановился посреди

поляны с костями и снял рюкзак сперва с одного плеча, потом с другого. Расстегнул молнию, вынул оранжевое одеяло, пинту апельсинового сока и несколько бутербродов со срезанными корками, завернутых в пленку.

— А почему все оранжевое? — спросила я, не позволяя себе думать, что все это каким-то образом ведет к Амстердаму.

— Ну как же, национальный цвет Нидерландов! Помнишь Вильгельма Оранского?

— Его в школе не проходят, — усмехнулась я, стараясь скрыть острый интерес.

— Бутерброд будешь? — спросил он.

— Дай догадаюсь, — сказала я.

— Голландский сыр и помидоры. Помидоры, извини, мексиканские.

— Вечно ты разочаруешь, Огастус. Хоть бы тогда оранжевых помидоров достал!

Он засмеялся, а потом мы молча ели бутерброды, глядя, как дети лазают по скульптуре. Я не могла спросить напрямую, поэтому сидела в окружении всего голландского, неловкая и переполняемая надеждой.

В отдалении, купаясь в чистейшем солнечном свете, столь редком и драгоценном в моем городке, шумная детская компания превратила скелет в игровую площадку, перепрыгивая через искусственные кости.

— Вот что мне в этой скульптуре нравится, — начал Огастус, подержав незажженную сигарету двумя пальцами, словно стряхивая пепел, и сунув ее обратно в рот. — Во-первых, кости достаточно далеко друг от друга, и ребенок не может устоять перед желанием попрыгать между ними. Ему хочется непременно пропрыгать всю грудную клетку до черепа. Во-вторых, скульптура своей сутью побуждает младость играть на костях. Символические



резонансы можно приводить бесконечно, Хейзел Грейс.

— Любишь ты символы, — сказала я, надеясь повернуть разговор к обилию голландских символов на нашем пикнике.

— Да, кстати, об этом. Ты, наверное, думаешь, почему приходится жевать сандвич с плохим сыром и пить апельсиновый сок и почему я надел фуфайку с голландцем, занимающимся спортом, который я не люблю.

— Ну, эти мысли приходили мне в голову, — согласилась я.

— Хейзел Грейс, как многие дети до тебя — и я говорю это с большой любовью, — ты потратила заветное Желание поспешно, не думая о последствиях. Мрачная Жница смотрела тебе в лицо, и страх умереть с Желанием в пресловутом кармане заставил тебя ткнуть пальцем в первое, что можно исполнить. И ты, как многие другие, выбрала бездушные искусственные удовольствия тематического луна-парка...

— Вообще-то поездка была прекрасная. Я видела Гуфи и Минни...

— Я не закончил внутреннего монолога! Я его записал и заучил, будешь мешать, собьюсь, — перебил меня Огастус. — Пожалуйста, жуй свой сандвич и слушай. — Бутерброд оказался невероятно черствым, но я улыбнулась и откусила с краешка. — Ладно. На чем я остановился?

— На искусственных удовольствиях.

Он убрал сигарету в пачку.

— Правильно, на бездушных искусственных удовольствиях тематического луна-парка. Но позволь мне доказать, что настоящие герои Фабрики Желаний — это молодые мужчины и женщины, которые ждут, как Владимир и Эстрагон ждут Годо[6] или хорошие христианские девушки — свадьбы. Эти молодые герои ждут stoически, без жалоб, когда сбудется их единственное заветное желание. Конечно, оно рискует никогда не исполниться, но они хотя

бы могут спокойно почить в могиле, зная, что внесли свою лепту в сохранение идеи Заветного Желания. С другой стороны, что, если оно осуществится? Что, если ты поймешь, что твое заветное желание — посетить гениального Питера ван Хутена в его амстердамском изгнании, и истинно возрадуешься, что не истратила свое Желание раньше?

Огастус замолчал и молчал довольно долго. Я рассудила, что внутренний монолог закончился.

— Но я уже использовала свое Желание, — напомнила я.

— А-а, — протянул он. И после артистически выдержанной паузы добавил: — Зато я свое не истратил.

— Правда? — Я была поражена, что Огастус попал в кандидаты на Желание, притом что он уже снова ходит в школу и у него целый год ремиссия. Нужно быть очень больным, чтобы фонд «Джини» поманил тебя Желанием.

— Я получил его в обмен на ногу, — пояснил он. Солнце светило прямо ему в лицо, он щурился, чтобы смотреть на меня, отчего его нос прелестно морщился. — Учти, я не собираюсь отдавать тебе мое Желание. Но у меня тоже появился интерес встретиться с Питером ван Хутеном, а без девушки, познакомившей меня с его книгой, встречаться с ним нет смысла.

— Решительно никакого, — подтвердила я.

— Я поговорил с людьми из «Джини», они меня поддержали. Сказали, в Амстердаме в начале мая просто сказка. Предложили уехать третьего мая, а вернуться седьмого.

— Огастус, это правда?

Он потянулся ко мне и коснулся щеки. Секунду я думала, что он меня поцелует. Я напряглась, и, видимо, он заметил, потому что убрал руку.

— Огастус, — обратилась я, — ты не обязан для меня этого делать.

— Еще как обязан, — сказал он. — Я осознал свое заветное желание!

— О Боже, ты самый лучший человек на свете, — восхитилась я.

— Ты небось говоришь это всем парням, которые финансируют тебе заграничные поездки,  
— ответил он.

## Глава 6

Когда я вернулась, мама складывала постиранное белье и смотрела телешоу «Взгляд». Я рассказала ей, что тюльпаны, голландский скульптор и все остальное означают: Огастус использовал свое Желание, чтобы отвезти меня в Амстердам.

— Это слишком, — сказала мать, качая головой. — Мы не можем принять такое практически от незнакомца.

— Он не незнакомец. Он мой второй лучший друг.

— Помимо Кейтлин?

— Помимо тебя, — поправила я. Это была правда, но я сказала это, потому что хотела поехать в Амстердам.

— Я спрошу у доктора Марии, — ответила мать через секунду.

Доктор Мария сказала, что мне нельзя в Амстердам без взрослого, хорошо знакомого с моим случаем. Это означало либо маму, либо саму доктора Марию (папа имел о раке примерно такие же представления, как я, — неполные и туманные, как об электрических цепях и океанских приливах, зато мама знала о дифференцированной карциноме щитовидной железы у подростков больше, чем многие онкологи).

— Значит, поедешь ты, — сказала я. — «Джини» оплатит. «Джини» всегда при деньгах.

— Но твой отец, — начала мать, — он без нас соскучится. Это будет нечестно по отношению к нему, а отпуск он взять не может.

— Ты что, шутишь? Папа будет только рад несколько дней смотреть телешоу не о мечтающих стать моделями, каждый вечер заказывать пиццу и есть ее с бумажных полотенец, чтобы не мыть тарелки.

Мать засмеялась. Мало-помалу она загорелась идеей и начала набирать в телефоне список дел. Надо позвонить родителям Гаса и поговорить с представителями «Джини» о моих медицинских нуждах, узнать, заказали они нам уже отель и какие путеводители лучше — надо подготовиться, ведь у нас будет всего три дня. У меня заболела голова, поэтому я проглотила две таблетки эдвила и решила вздремнуть.

Но сон не шел, поэтому я просто лежала в кровати, вспоминая пикник с Огастусом. Я не могла забыть момент, когда я напряглась от его прикосновения. Нежная фамильярность отчего-то покорила. Я подумала, может, виной тому излишняя срежиссированность всего мероприятия? Огастус превзошел сам себя, но на пикнике все было немного чересчур, начиная с сэндвичей, которые метафорически резонировали, но оказались несъедобными, и заканчивая вызубренным внутренним монологом, предварившим разговор. Все это только внешне казалось романтическим.

Правда в том, что я не хотела, чтобы он меня целовал, — так, как полагается хотеть подобные вещи. Он, конечно, красавец. И меня к нему тянет. Я думала об Огастусе в этом смысле, если говорить жаргоном средней школы, но реальное, состоявшееся прикосновение... оказалось чем-то не тем.

Я поймала себя на неприятном волнении — неужели придется с ним целоваться, чтобы попасть в Амстердам? Думать об этом не хотелось, потому что а) по идее об объятиях Огастуса полагалось мечтать безо всяких вопросов и б) целовать кого-то за бесплатную поездку слегка напоминает проституцию, а я должна признаться: не считая себя особенно хорошим человеком, все же не предполагала, что первые шаги на романтической почве станут у меня продажными.

С другой стороны, он же не попытался меня поцеловать, только дотронулся до моей щеки, и это даже не было сексуально. Его движение не было призвано вызвать возбуждение, но оно все-таки было обдуманым, потому что Огастус Уотерс не признает импровизаций. Так что же он пытался передать? И почему я не захотела это принять?

В какой-то момент я поняла, что рассматриваю ситуацию с позиции Кейтлин, поэтому я решила послать ей сообщение и попросить совета. Она тут же позвонила.

— У меня проблема с парнем, — сказала я.

— Потрясающе! — отозвалась Кейтлин.

Я рассказала ей все, включая неловкое прикосновение к щеке, умолчав лишь об Амстердаме и имени Огастуса.

— Ты уверена, что он красавчик? — спросила она, когда я закончила.

— Абсолютно, — ответила я.

— Спортивный?

— Да, он прежде играл в баскетбол за школу Нортсентрал.

— Вау! А где вы познакомились?

— В этой жуткой группе поддержки.

— Хм, — задумалась Кейтлин. — Слушай, чистое любопытство: сколько ног у этого парня?

— Одна целая четыре десятых, — сообщила я с улыбкой. Баскетболисты в Индиане люди знаменитые, и хотя Кейтлин не ходила в Норт-сентрал, круг ее общения был поистине безграничен.

— Огастус Уотерс, — заключила она.

— Может быть.

— Боже мой, я видела его на вечеринках! Я бы ему все сделала... ну, не теперь, когда я знаю, что ты им интересуешься. Но, сладчайший Боже, я бы прокатилась на этом одноногом пони по всему коралю!

— Кейтлин! — предупредила я.

— Прости. Считаешь, он должен быть сверху?

— Кейтлин! — воскликнула я.

— О чем мы говорили? А, да, ты и Огастус Уотерс. Слушай, а ты не того, не той ориентации?

— Откуда мне знать?.. Он мне определенно нравится.

— Может, у него некрасивые руки? Иногда у красивых людей безобразные руки.

— Нет, руки у него удивительной красоты.

Через секунду Кейтлин спросила:

— Помнишь Дерека? Он со мной расстался на той неделе, решив, что между нами глубоко внутри есть какая-то фундаментальная несовместимость и мы лишь сделаем себе больнее, если не остановимся. Он назвал это предупредительным кидком. Может, у тебя тоже предчувствие, что у вас фундаментальная несовместимость и ты предупреждаешь предупредительный кидок?

— Хм, — сказала я.

— Я просто думаю вслух.

— Сочувствую насчет Дерека.

— О, я об этом уже забыла. Мой рецепт — коробка мятного печенья девочек-скаутов и сорок минут.

Я засмеялась:

— Ну что ж, спасибо, Кейтлин.

— Если решишь с ним закрутить, я буду ждать сладострастных подробностей.

— Обязательно, — сказала я. В трубке послышался звук поцелуя. — Пока, — попрощалась я,

и Кейтлин нажала отбой.

Слушая Кейтлин, я поняла — у меня не было предчувствия, что я задену чувства Гаса. У меня возникло послечувствие.

Я открыла ноутбук и задала в поиск Каролин Мэтерс. Внешнее сходство было поразительным: такое же круглое от стероидов лицо, тот же нос, примерно та же фигура. Но глаза у нее были темно-карие (у меня зеленые), и она была смугла, как итальянка.

Тысячи, буквально тысячи людей оставили соболезнования на ее странице. Я просматривала бесконечный перечень тех, кто тосковал по ней. Их было так много, что у меня ушел час, чтобы найти, где начинались сообщения «Мне очень жаль, что ты умерла» и заканчивались «Молюсь за тебя». Она скончалась год назад от рака мозга. Я посмотрела фотографии. Огастус был на многих ранних снимках: показывал, выставив большие пальцы, на неровный шрам поперек ее бритой головы, держал ее за руку на игровой площадке больницы «Мемориал» — оба стояли спиной в кадр, целовал, пока Каролин держала камеру на отлете, поэтому на снимке получились только их носы и закрытые глаза.

Дальше шли снимки Каролин до болезни — эти фотографии постмортем разместили ее друзья: красивая широкобедрая девушка с прекрасными формами и длинными прямыми траурно-черными волосами, падавшими на лицо. До болезни я мало походила на здоровую Каролин, но наши раковые ипостаси могли сойти за сестер. Неудивительно, что Огастус уставился на меня с первой минуты.

Я продолжала возвращаться к сообщению, отправленному на стенку Каролин два месяца назад — через девять месяцев после того, как девушки не стало: «Тоскуем по тебе. Боль не ослабевает. Мы все словно получили незаживающие раны в твоей схватке, Каролин. Я скучаю по тебе. Я тебя люблю».

Через некоторое время мама с папой объявили, что пора ужинать. Я закрыла ноут и встала, но не могла забыть сообщение на стенке Каролин Мэтерс: отчего-то оно лишило меня аппетита и вселило нервозность.



Я думала о плече, которое все еще болело, и о некстати разболевшейся голове — не исключено, что из-за неотвязных мыслей о девушке, умершей от рака мозга. Я повторяла себе научиться разделять воображаемое и действительное, быть здесь и сейчас, за круглым столом (пожалуй, слишком внушительного диаметра даже для троих и, несомненно, чрезмерно большого для двоих), с клеклой брокколи и бургером с черной фасолью, которую весь кетчуп в мире не сможет увлажнить. Я сказала себе, что воображаемые метастазы в мозге или плече не повлияют на реальное положение дел в организме и что подобные мысли лишь крадут мгновения жизни, состоящей из ограниченного и конечного числа секунд. Я даже уговаривала себя жить сегодня, как в свой лучший день.

Очень долго я не могла понять, почему неизвестно кем написанное в Интернете покойной незнакомке так меня взволновало и заставило заподозрить новообразование в собственном мозге. Голова реально болела, хотя я по опыту знала, что боль — тупой и неспецифический диагностический инструмент.

Так как в тот день в Папуа — Новой Гвинее землетрясения не случилось, родители не сводили с меня глаз, а я не могла скрыть внезапный бурный паводок тревоги.

— Все в порядке? — спросила мама, пока я ела.

— Угу, — ответила я. Откусила от бургера. Проглотила. Попыталась сказать что-нибудь, что сказал бы здоровый человек, чей мозг не затопила паника. — В бургерах тоже брокколи?

— Немного, — сказал папа. — Как здорово, что вы поедете в Амстердам!

— Да, — отозвалась я, стараясь не думать о фразе «мы все получили незаживающие раны в твоей схватке» и постоянно о ней думая.

— Хейзел, — спросила мама. — Ты где?

— Просто задумалась, — ответила я.

— Любовная рассеянность, — улыбнулся папа.

— Я вам не зайчиха, и я не влюблена в Гаса Уотерса и ни в кого другого тоже, — ответила я, вдруг загорячившись. Незаживающие раны. Будто Каролин Мэтерс была бомбой, и, когда она взорвалась, окружающих зацепило шрапнелью.

Папа спросил, готова ли я на завтра к колледжу.

— У меня довольно сложная домашка по алгебре, — ответила я. — Настолько сложная, что профану не понять.

— А как твой приятель Айзек?

— Ослеп, — отрезала я.

— Ты сегодня ведешь себя очень по-детски, — заметила мама. Ее это, кажется, раздражало.

— Разве ты не этого хотела, мам? Чтобы я была нормальным подростком?

— Ну не обязательно в такой форме, но, конечно, мы с твоим отцом рады видеть, что ты становишься молодой женщиной, заводишь друзей, ходишь на свидания...

— Я не хожу на свидания, — сказала я. — Я не хочу ходить на свидания. Это плохая идея, потеря времени и...

— Детка, — перебила меня мать. — Что случилось?

— Я как... как... я, как граната, мама! Я граната, в какой-то момент я взорвусь, поэтому хочу заранее минимизировать случайные жертвы, понятно?

Папа втянул голову в плечи, словно наказанный щенок.

— Граната, — повторила я. — Я хочу держаться подальше от людей, читать книги, думать, быть с вами двоими, потому что не задеть вас у меня никак не получится; вы слишком много в меня вложили, так что, пожалуйста, позвольте мне поступать, как я хочу, ладно? Я не в депрессии. Мне уже не надо из нее выкарабкиваться. Я не могу быть нормальным подростком, потому что я граната.

— Хейзел, — начал папа, но у него перехватило горло. Он много плакал, мой папа.

— Я пойду к себе в комнату и немного почитаю, okay? Со мной все хорошо, правда, хорошо. Я просто хочу почитать.

Я начала читать заданный роман, но мы живем в прискорбно тонкостенном доме, поэтому я слышала почти весь разговор, который велся шепотом. Папа сказал: «Меня это просто убивает», мама: «Вот этого ей точно слышать не надо», папа: «Мне очень жаль, но...», мама: «Ты что, не благодарен?», и папа: «Господи, конечно, благодарен!» Я напряженно вчитывалась в строки, но шепот назойливо лез мне в уши.

Поэтому я включила музыку на ноутбуке и под любимую группу Огастуса, «Лихорадочный блеск», в качестве саундтрека открыла памятные страницы Каролин Мэтерс почитать, как героически она боролась, как о ней все тоскуют, и что теперь она в лучшем мире и будет жить вечно в их памяти, и как все, кто ее знал, — все! — подавлены ее уходом.

Наверное, мне полагалось ненавидеть Каролин Мэтерс, потому что она была с Огастусом, но я ничего такого не ощущала. Я смутно представляла ее из посмертных постов, но ненавидеть там было просто нечего: Каролин тоже была профессионально больным человеком. Меня волновало одно: когда умру я, обо мне нечего будет сказать, кроме героической борьбы, будто все, что я сделала в жизни, — это заболела раком.

В конце концов я начала читать короткие сообщения Каролин Мэтерс, написанные скорее всего родителями, потому что ее рак мозга относился к той разновидности, которая лишает вас личности раньше, чем жизни.

Все оказались примерно такими: «У Каролин по-прежнему отклонения в поведении: она с трудом справляется с раздражением и отчаянием из-за невозможности говорить (мы,

конечно, тоже очень расстроены, но у нас есть более социально приемлемые способы выразить свой гнев). Гас зовет Каролин „Халк крушить“, что нашло живой отклик у врачей. Ничего легкого в ситуации нет ни для кого из нас, но что видим, о том и шутим. Надеемся забрать ее домой в четверг. Мы вам напишем».

Вряд ли стоит говорить, что в четверг она домой не попала.

Понятно, почему я напряглась, когда он меня коснулся. Быть с ним означает причинять ему боль — это неизбежно. Я это почувствовала, когда он потянулся ко мне. Мне казалось, будто я совершаю по отношению к нему акт насилия, потому что так оно и было.

Из желания избежать разговора я решила написать ему сообщение:

«Привет. Ладно, я не знаю, понимаешь ты или нет, но я не могу тебя целовать. Не то чтобы у тебя это желание на лице написано, но я просто не могу. Когда я пытаюсь представить тебя в этом смысле, мне сразу кажется, что это надо прекращать. Может, тебе это покажется лишенным смысла. В любом случае извини».

Через несколько минут от него пришло сообщение:

«Ладно».

Я написала:

«Ладно».

Он ответил:

«О Боже, перестань со мной флиртовать!»

Я набрала:

«Ладно».

Телефон зажужжал через несколько секунд:

«Я позволил себе повалять дурака, Хейзел Грейс. Я все понимаю. (Однако мы оба знаем, что „ладно“ очень игривое слово. „Ладно“ пропитано чувственностью!)»

Мне очень хотелось еще раз ответить ему «ладно», но я представила Огастуса на моих похоронах, и это помогло мне написать правильный ответ:

«Извини».

Я попыталась лечь спать в наушниках, но вскоре вошли мама и папа. Мама схватила с полки Блуи и прижала к животу, а папа присел на мой ученический стул и спокойно произнес:

— Ты не граната. Только не для нас. Мысль о том, что ты можешь умереть, повергает нас в глубокую печаль, Хейзел, но ты не граната. Ты чудесна. Ты этого не знаешь, детка, потому что у тебя не было ребенка, ставшего блестящей юной читательницей с побочным интересом к дурацким телешоу, но радость, которую ты нам приносишь, гораздо больше нашей скорби о твоей болезни.

— Ладно, — согласилась я.

— Это правда, — сказал папа. — Я не стал бы лгать о таких вещах. Будь от тебя больше проблем, чем пользы, мы бы просто выкинули тебя на улицу.

— Мы не сентиментальны, — подхватила мама с невозмутимым видом. — Оставили бы тебя у приюта с запиской, пришпиленной к пижаме.

Я рассмеялась.

— Тебе не обязательно ходить в группу поддержки, — добавила мама. — Тебе не обязательно чем-то заниматься... кроме учебы. — Она вручила мне медведя.

— По-моему, Блуи сегодня может поспать на полке, — попыталась отказаться я. — Позволь тебе напомнить, что мне больше тридцати трех половинок лет.

— Ну приюти его на ночь, — попросила мать.

— Мам! — воскликнула я.

— Ему одиноко, — надавила на жалость она.

— Боже мой, ну мам! — возмутилась я, но взяла дурацкого Блуи и заснула с ним в обнимку.

Я по-прежнему обнимала Блуи одной рукой, когда проснулась в четыре утра с апокалипсической болью, пробивавшейся изнутри сквозь череп.

Я закричала, чтобы разбудить родителей, и они вбежали в комнату, но ничем не могли приглушить взрыв сверхновой в моем мозге и бесконечные оглушительные вспышки петард под крышкой черепа, и я уже решила, что ухожу окончательно, и сказала себе, как говорила и раньше, что тело отключается, когда боль становится слишком сильной, сознание временно, и это пройдет. Но, как всегда, сознания я не теряла. Я лежала на кромке берега, и волны перекачивались через меня, не давая утонуть.

Машины вел папа, одновременно он говорил по телефону с больницей, а я лежала на заднем сиденье, положив голову к маме на колени. Ничего поделать было нельзя: от крика становилось только хуже. От любых стимулов боль усиливалась.

Единственным выходом было пытаться развалить мир, сделать все черным, безмолвным и необитаемым, вернуться во времена до Большого Взрыва, в начало, когда было Слово, и жить в пустоте несозданного пространства наедине со Словом.

Люди говорят о мужестве раковых больных, и я не отрицаю это мужество. Меня и кололи, и резали, и травили годами, а я все ковыляю. Но не впадайте в заблуждение: в тот момент я была бы искренне рада умереть.

Я проснулась в отделении интенсивной терапии. Я сразу поняла, где нахожусь, потому что обстановка была не домашняя, вокруг — много разных пищущих устройств и я лежала одна. В детском отделении родителям не разрешают круглосуточно присутствовать в палате интенсивной терапии из-за риска инфекции. В коридоре слышались громкие рыдания — умер чей-то ребенок. Я нажала красную кнопку вызова.

Через несколько секунд вошла медсестра.

— Здравьете, — произнесла я.

— Привет, Хейзел, я Элисон, твоя медсестра, — представилась она.

— Привет, Элисон-моя-медсестра, — повторила я.

На этом силы у меня закончились и снова навалилась усталость. В следующий раз я ненадолго проснулась, когда родители, плача, обцеловывали мое лицо. Я хотела их обнять, но от этого усилия сразу же все заболело, и мама с папой сказали мне, что никакой опухоли мозга нет, а головную боль вызвала низкая оксигенация, потому что легкие у меня наполнились жидкостью, целых полтора литра (!!!) откачали через трубку, у меня может побаливать в боку, куда — ох, вы только гляньте! — вставлена трубка, идущая к пластиковому пузырю, наполовину полному янтарной жидкостью, больше всего напоминающей, клянусь, папин любимый эль. Мама пообещала, что меня честно-честно отпустят домой, просто придется регулярно делать дренаж и перед сном подключаться к ИВЛ — вот как сейчас аппарат нагнетает и отсасывает воздух из моих дерьмовых легких. А в первую ночь мне сделали полное позитронное сканирование, и — ура! — новых опухолей нет, и старые не увеличились. Боль в плече тоже была вызвана недостатком кислорода — сердце работало на пределе.

— Доктор Мария утром высказалась насчет тебя очень оптимистично, — сказал папа. Мне доктор Мария нравилась — она нам не лгала, и услышать про ее оптимизм было приятно.

— Это был просто случай, Хейзел, — утешала мать. — Случай, который можно пережить.

Я кивнула. Элисон-моя-медсестра вежливо выпроводила родителей из палаты и предложила ледяной стружки. Я кивнула, она присела на краешек койки и начала кормить меня с ложечки.

— Значит, пару дней ты проспала, — начала Элисон. — Хм, что же ты пропустила... Знаменитости принимали наркотики, политики ссорились, другие знаменитости надели бикини, обнажившие несовершенство их тел. Одни команды выиграли матчи, другие проиграли. — Я улыбнулась. — Нельзя просто так от всего исчезать, Хейзел. Ты много пропускаешь.

— Еще, — попросила я, кивнув на белую пластиковую чашку в руке медсестры.



— Не надо бы, — сказала она, — но я бунтарка. — Она сунула мне в рот еще одну ложку ледяной крошки. Я пробормотала «спасибо». Спасибо, Боженька, за хороших медсестер. — Устала? — спросила Элисон. Я кивнула. — Поспи. Я постараюсь кое-кого отвлечь и дать тебе пару часов, прежде чем придут мерить тебе температуру, проверять пульс, дыхание... — Я снова сказала «спасибо» — в больнице часто благодаришь — и попыталась устроиться в кровати поудобнее. — А что же ты не спрашиваешь о своем бойфренде? — удивилась Элисон.

— У меня нет бойфренда, — ответила я.

— Но какой-то мальчик не выходит из комнаты ожидания с тех пор, как тебя привезли.

— Он хоть не видел меня в таком виде?!

— Нет, сюда можно только родственникам.

Я кивнула и забылась неглубоким сном.

Только через шесть дней меня отпустили домой, шесть дней ничегонеделания, разглядывания акустической потолочной плитки, просмотра телевизора, сна, боли и желаний, чтобы время шло быстрее. Огастуса я не видела, только родителей. Волосы у меня сбились в птичье гнездо, своей шаркающей походкой я напоминала пациентов с деменцией, но с каждым днем чувствовала себя немного лучше. Сон борется с раком, в тысячный раз сказал мой лечащий врач Джим, осматривая меня как-то утром в присутствии студентов-медиков.

— Тогда я просто машина для борьбы с раком, — отозвалась я.

— Правильно, Хейзел. Отдыхай и скоро поедешь домой.

Во вторник мне сказали, что в среду я поеду домой. В среду под небольшим присмотром два студента-медика вынули у меня из бока дренаж — ощущение, будто тебя закалывают в обратном направлении, — но все прошло не очень гладко, поэтому было решено оставить меня до четверга. Я начала уже думать, что стала субъектом какого-то экзистенциалистского эксперимента с постоянно отдаляемым удовольствием, когда в пятницу утром пришла доктор Мария, с минуту меня осматривала и наконец сказала, что я могу идти.

Мама открыла свою раздутую сумку, демонстрируя, что захватила мне одежду, в которой я поеду домой. Вошла медсестра и сняла мой катетер. Я почувствовала себя выпущенной на свободу, хотя по-прежнему возила за собой кислородный баллон. Я потопала в ванную, приняла первый за неделю душ, оделась и так устала от всего этого, что мне пришлось прилечь и отдышаться. Мама спросила:

— Хочешь увидеть Огастуса?

— Да, пожалуй, — ответила я через минуту. Встав, я дотащилась до одного из пластиковых стульев у стены и сунула под него баллон. Сил у меня после этого не осталось.

Папа вернулся с Огастусом через несколько минут. Волосы у него были спутаны и свешивались на лоб. При виде меня он расплылся в фирменной дурацкой улыбке Огастуса Уотерса, и я невольно улыбнулась в ответ. Он присел на синий шезлонг, обитый искусственной кожей, и подался ко мне не в силах прогнать улыбку.

Мама с папой оставили нас одних, отчего мне стало неловко. Я с трудом выдерживала взгляд его глаз, хотя они были настолько хороши, что в них трудно было невозмутимо смотреть.

— Я скучал по тебе, — сказал Огастус.

Голос у меня получился совсем писклявый:

— Спасибо, что не пытался меня увидеть, когда я выглядела как черт-те что.

— Честно говоря, ты и сейчас ужасно выглядишь.

Я засмеялась:

— Я тоже по тебе соскучилась. Просто не хотела, чтобы ты видел... все это. Я хотела... ладно, не важно. Не всегда же получаешь желаемое.

— Неужели? — удивился он. — А я-то думал, что мир — это фабрика по исполнению желаний!

— А вот, оказывается, не так, — возразила я. Огастус сидел такой красивый... Он потянулся к моей руке, но я покачала головой.

— Нет, — тихо произнесла я. — Если мы будем встречаться, это должно быть не так.

— Ладно, — согласился он. — С фронтов желаний у меня есть хорошие и плохие сводки.

— Ладно, — выжидательно протянула я.

— Плохие новости в том, что мы не можем ехать в Амстердам, пока тебе не станет лучше. Впрочем, «Джини» обещала подождать со своими чудесами, пока ты не поправишься.

— Это хорошая новость?

— Нет, хорошая новость в том, что пока ты спала, Питер ван Хутен снова поделился с нами плодами своего блестящего ума.

Он опять потянулся к моей руке, но на этот раз сунул мне в ладонь многократно сложенный листок писчей бумаги с тисненым заголовком «Питер ван Хутен, беллетрист в отставке».

Я прочла письмо уже дома, устроившись на своей огромной пустой кровати, где никакие медицинские процедуры или деятели не могли мне помешать. Нервный, с сильным наклоном почерк ван Хутена я разбирала целую вечность.

Уважаемый мистер Уотерс!

По получении Вашей электронной депеши, датированной четырнадцатым апреля, я вполне прочувствовал шекспировскую сложность Вашей трагедии. Все персонажи Вашей истории имеют незыблемую гамартию: она — свою тяжелую болезнь, Вы — свое сравнительно хорошее здоровье. Когда ей лучше или Вам хуже, звезды смотрят на вас не столь косо, хотя вообще смотреть косо — основное занятие звезд, и Шекспир не мог ошибиться сильнее, чем когда вложил в уста Кассия фразу: «Не в звездах, нет, а в нас самих ищи / Причину, что ничтожны мы и слабы».[7] Легко так говорить, когда ты римский аристократ (или Шекспир), однако в реальности в наших гороскопах почти сплошь ошибки.

Раз речь зашла о несовершенствах старого Уилла, Ваше письмо о юной Хейзел напомнило мне Пятьдесят пятый сонет Барда, который начинается: «Ни мрамору, ни злату саркофага, / Могущих сил не пережить стихов, / Не в грязном камне, выщербленном влагой, / Блистать ты будешь, но в рассказе строф»[8] (не по теме, но время действительно худшая из шлюх: кидает каждого). Стихи прекрасны, но утверждение ложно: мы действительно помним «веские слова» Шекспира, но что мы помним о человеке, память которого он увековечил? Ничего. Все, что можно сказать с уверенностью, — это был мужчина; об остальном нам остается лишь догадываться. Шекспир сказал нам драгоценно мало о человеке, которого похоронил в своем лингвистическом саркофаге (прошу Вас быть свидетелем — когда мы говорим о литературе, мы делаем это в настоящем времени. Когда мы говорим о мертвых, мы уже не столь любезны). Нельзя обессмертить ушедших, написав о них. Язык хоронит, но не воскрешает (откровенно признаюсь, я не первый, кто сделал это наблюдение; сравните стих Макклиша «Замшелый мрамор царственных могил», где есть героическая строка: «Я скажу, что ты умрешь, и никто тебя не вспомнит».

Я отступил от темы, но вот в чем мораль: мертвые видны только чудовищному немигающему глазу памяти. Живые, слава Небесам, сохраняют способность удивлять и разочаровывать. Ваша Хейзел жива, Уотерс, и Вы должны уважать ее решение, особенно если оно принято настолько осознанно. Она щадит Вас, желает избавиться от боли; позвольте же ей так поступить. Возможно, Вы не считаете логику юной Хейзел убедительной, но я бреду по этой юдоли слез дольше, чем вы, и с моей точки зрения Ваша девочка отнюдь не сумасшедшая.

Искренне Ваш

Питер ван Хутен.

Он действительно собственноручно нам написал. Я лизнула палец и потыкала бумагу. Чернила немного расплылись. Настоящее.

— Мама, — позвала я. Я говорила негромко, но мне и не нужно было — она всегда наготове.

Мама просунула голову в дверь:

— Ты в порядке, деточка?

— Можешь сейчас позвонить доктору Марии и спросить, убьет ли меня трансконтинентальный перелет?

Глава 8

Двумя днями позже у нас состоялось расширенное заседание раковой коллегии. Время от времени группа врачей, социальных работников, физиотерапевтов и кого-там-еще собиралась за большим столом в конференц-зале и обсуждала мою ситуацию (не с Огастусом Уотерсом и не с Амстердамом. С раком).

Вела заседание доктор Мария. Когда я вошла, она меня обняла. Она любит обниматься.

Я чувствовала себя вроде получше. После ночного сна на ИВЛ легкие казались почти нормальными, хотя я, собственно говоря, уже не помню, каково это — иметь нормальные легкие.

Собравшись, все устроили большое представление: вдумчиво листали свои бумаги и всячески делали вид, что там содержится вся информация обо мне. Затем доктор Мария сказала:

— Хорошая новость в том, что фаланксифор продолжает сдерживать рост метастазов, но у нас возникли серьезные проблемы со скоплением жидкости в легких. Вопрос в том, как нам продолжать?

На этом она взглянула на меня, словно ожидая ответа.

— Хм, — сказала я. — Мне кажется, я не самый квалифицированный специалист в этой комнате, чтобы отвечать на такой вопрос.

Она улыбнулась:

— Верно, я ждала ответа от доктора Саймонса. Доктор Саймонс?

Это был второй онколог какой-то там специализации.

— На примере других пациентов мы знаем, что большинство опухолей в конце концов находят способ расти, несмотря на фаланксифор, но будь они причиной скопления

экссудата, мы бы увидели при сканировании рост метастазов, а мы его не обнаружили. Значит, причина пока не в этом.

«Пока», — отметила я.

Доктор Саймонс постукивал по столу указательным пальцем.

— Возникло мнение, что фаланксифор провоцирует отек, но мы столкнемся с более серьезными проблемами, если от него откажемся.

Доктор Мария добавила:

— Нам почти не известны последствия употребления фаланксифора. Очень немногие принимают его так долго, как ты.

— Значит, мы ничего не будем делать?

— Мы будем продолжать курс фаланксифора и чаще дренировать твои легкие. Нужно стараться предупреждать отек. — Меня вдруг отчего-то затошнило, я даже испугалась, что вырвет. Мне отвратительны заседания раковой коллегии вообще, а это в частности я возненавидела особенно сильно. — Рак у тебя не проходит, Хейзел, но мы видели пациентов с твоей степенью опухолей, которые жили долгое время. — (Я не спросила, что она разумеет под долгим временем. Я уже делала эту ошибку.) — Я знаю, что сразу после интенсивной терапии тебе может показаться, что это не так, но скопление жидкости, по крайней мере сейчас, контролировать можно.

— А нельзя пересадить мне легкие? — спросила я.

Доктор Мария поджала губы.

— К сожалению, тебя не признают подходящим реципиентом, — ответила она. Я поняла. Бесплезно тратить хорошие легкие на безнадежный случай. Я кивнула, стараясь не подать

виду, что услышанное меня задело. Папа тихо заплакал. Я не оглядывалась, но довольно долго никто ничего не говорил, поэтому его всхлипы и икота были единственными звуками в комнате.

Мне страшно не хотелось его огорчать. Обычно я об этом забывала, но беспощадная правда в следующем: родители, может, и счастливы, что я у них есть, но я — альфа и омега их страданий.

Незадолго до Чуда, когда я лежала в интенсивной терапии и все шло к тому, что я сыграю в ящик, а мама повторяла: «Не стыдно и сдать», и я старалась сдать, но легкие продолжали требовать воздуха, мама прорыдала папе в грудь то, о чем я до сих пор жалею, что расслышала, и, надеюсь, мама никогда об этом не узнает. Она сказала: «Теперь меня никто не назовет мамой!» Это задело меня за живое.

Я невольно думала об этом до конца заседания раковой коллегии, не в силах забыть, как она это сказала: словно ее жизнь уже никогда не будет нормальной, а это значило, что, пожалуй, и не будет.

В общем, в итоге мы решили все продолжать, как раньше, только чаще дренировать легкие. Я спросила, можно ли мне съездить в Амстердам, на что доктор Саймонс откровенно засмеялся, но доктор Мария возразила:

— А почему нет?

Доктор Саймонс с нажимом переспросил:

— Почему нет?



А доктор Мария ответила:

— Да, я не вижу причин, почему бы и нет. В самолетах есть кислород, в конце концов.

Доктор Саймонс сказал:

— Они что, повезут аппарат для ИВЛ через таможенный контроль?

А доктор Мария ответила:

— Да, или там будут ее с ним ждать.

— Подвергать пациентку — одну из самых перспективных в выборке с фаланксифором — восьмичасовому полету при отсутствии врачей, досконально знающих ее случай? Это рецепт катастрофы.

Доктор Мария пожала плечами.

— Это несколько повысит риск, — признала она, но тут же повернулась ко мне и добавила:  
— Но это твоя жизнь.

Да только вот не совсем. По дороге домой родители договорились: я не поеду в Амстердам, пока медики не вынесут вердикт, что это безопасно.

Вечером позвонил Огастус. Я уже была в постели — теперь я ложилась спать сразу после ужина, — подпертая десятком подушек с Блуи на подмогу и с ноутбуком на коленях.

Взяв трубку, я произнесла:

— Плохие новости.

Он сказал:

— Черт, какие?

— Не могу лететь в Амстердам. Один из врачей заявил, что это плохая идея.

Огастус секунду молчал.

— Боже, — прошептал он, — надо было просто оплатить поездку самому. Забрать тебя в Амстердам прямо от Сексуальных костей.

— Тогда почти фатальная деоксигенация случилась бы у меня в Амстердаме, и тело отправили бы домой в багажном отсеке, — возразила я.

— Возможно, — признал он. — Но до этого мой широкий романтический жест обязательно был бы вознагражден хорошим сексом.

Я так смеялась, что почувствовала место, где в боку стоял дренаж.

— Ты смеешься, потому что это правда, — заметил он.

Я снова засмеялась.

— Это правда или нет?

— Пожалуй, нет, — ответила я и добавила через секунду: — Хотя кто его знает.

Он застонал в отчаянии:

— Помереть мне девственником!

— Ты девственник? — удивилась я.

— Хейзел Грейс. У тебя ручка и бумага под рукой? — Я сказала, что да. — Ладно, тогда нарисуй кружок. — Я нарисовала. — Теперь нарисуй маленький кружок внутри первого! — Я так и сделала. — Большой кружок — это девственники. Маленький — это семнадцатилетние девственники без одной ноги.

Я снова засмеялась и сказала, что общение, ограничивающееся почти исключительно детской больницей, тоже не способствует неразборчивости в связях. Мы поговорили о блестящем замечании Питера ван Хутена о том, что время — худшая из шлюх, и хотя я лежала в кровати, а Гас сидел в своем подвале, мне снова показалось, будто мы в несуществующем третьем пространстве, которое я с удовольствием посетила бы с ним.

Когда я нажала отбой, в комнату вошли мама с папой, и хотя для троих кровать была узковата, они легли по обе стороны от меня, и мы втроем смотрели «Новую американскую топ-модель». Девушку, которая мне не нравилась, Селену, наконец отсеяли, отчего я неожиданно повеселела. Затем мама подключила меня к ИВЛ и подоткнула одеяло, а папа поцеловал в лоб, уколол щетиной, и я закрыла глаза.

Дыша за меня, ИВЛ со мной не советовался, что очень раздражало, но зато он издавал очень прикольные звуки, урча с каждым вдохом и жужжа на выдохе. Я представила, что это храпит дракон, будто у меня появился домашний дракон, который свернулся рядышком и из вежливости старается дышать одновременно со мною. С этой мыслью я заснула.

Утром я встала поздно. Я посмотрела телевизор, лежа в постели, проверила почту и начала писать и-мейл Питеру ван Хутену о том, что не могу приехать в Амстердам, но клянусь жизнью матери, что никогда ни с кем не поделюсь содержанием сиквела, у меня даже нет такого желания, потому что я большая эгоистка, и пусть он только скажет, мошенник Тюльпановый Голландец или нет, выйдет ли за него мама Анны, и что станется с хомяком Сисифусом.

Однако письмо я не отослала. Оно получилось слишком жалким даже для меня.

Часа в три, когда Огастус, по моим подсчетам, вернулся из школы, я вышла на задний дворик и набрала его номер. Пока шли гудки, я села на газон — переросшую траву попеременно с одуванчиками. Качели по-прежнему стояли рядом; маленькая канавка, которую я выбила ногами, отталкиваясь от земли, чтобы раскататься повыше, заросла сорняками. Помню, папа принес домой сборные качели из «Игрушки — это мы», собрал во дворе на пару с соседом и настоял, что протестирует их первым, отчего чертовы качели чуть не сломались.

Небо было серое, низкое, собирался дождь, но пока не упало ни капли. Я нажала отбой, когда включился автоответчик Огастуса, и положила телефон рядом с собой, в грязь, глядя на качели и думая, что променяла бы все дни болезни, которые мне остались, на несколько здоровых. Я говорила себе, что могло быть и хуже, мир не фабрика по исполнению желаний, я живу с раком, а не умираю от него и не имею права сдаваться без боя, потом я начала едва слышно повторять: «Глупо-глупо-глупо-глупо-глупо...», и так долго-долго, пока слово не потеряло смысл. Я еще повторяла, когда перезвонил Огастус.

— Привет, — сказала я.

— Хейзел Грейс, — произнес он.

— Привет, — снова сказала я.

— Ты что, плачешь, Хейзел Грейс?

— Ну, вроде того.

— Почему? — спросил он.

— Потому что я хочу поехать в Амстердам, чтобы ван Хутен сказал, что случится после финала книги, и мне не нужна такая вот жизнь, а тут еще небо давит, и старые качели стоят над душой, отец сделал, когда я была маленькой...

— Я должен немедленно увидеть эти слезы на старых качелях, — произнес он. — Приеду через двадцать минут.

Я осталась в патио, потому что мама всегда становится крайне озабоченной и принимается душить своим вниманием, когда я плачу потому что плачу я редко. Я знала, что она привяжется и станет убеждать: я не должна учить врачей, как меня лечить. От этого разговора меня затошнит.

Не то чтобы у меня были четкие воспоминания о здоровом отце, раскачивавшем здоровую малышку, повторяющую: «Выше, выше!» — или о другом метафорически резонирующем моменте. Качели стояли заброшенными — два маленьких сиденья, формой напомилавшие улыбку с детского рисунка, печально застыв, свешивались с посеревшей деревянной балки.

Позади меня открылась раздвижная стеклянная дверь. Я обернулась. На пороге стоял Огастус в штанах цвета хаки и летней клетчатой рубашке. Я вытерла лицо рукавом и улыбнулась.

— Привет, — сказала я.

У него ушла секунда на то, чтобы присесть на траву рядом со мной, и он не удержался от гримасы, довольно неуклюже приземлившись на задницу.

— Привет, — откликнулся он наконец. Я взглянула на него. Гас смотрел мимо, куда-то во двор. — Теперь мне понятна причина твоей хандры. — Он обнял меня рукой за плечи. — Старые унылые дурацкие качели.

Я боднула его головой в плечо.

— Спасибо, что приехал.

— Ты понимаешь, что, отдаляясь от меня, ты не уменьшишь моей любви к тебе? — спросил он.

— Наверное, — ответила я.

— Попытки спасти меня от тебя обречены на провал, — предупредил он.

— Почему? Почему ты вообще обратил на меня внимание? Недостаточно натерпелся? — уточнила я, имея в виду Каролин Мэтерс.

Гас не ответил, продолжая держаться за меня, — я чувствовала его сильные пальцы на левой руке.

— Надо что-то сделать с этими чертовыми качелями, — заявил он. — Я тебе говорю: они девяносто процентов проблемы.

Когда я успокоилась, мы пошли в дом и вместе сели на диван, поставив ноутбук наполовину на колено (протеза) Гаса, а наполовину — на мое.

— Горячо, — сказала я о нагревшемся ноуте.

— Уже? — улыбнулся Гас. Он открыл сайт распродаж под названием «Бесплатно или за грош», и мы начали составлять объявление.

— Название? — спросил он.

— Качели ищут дом, — предложила я.

— Бесконечно одинокие качели ищут любящий дом, — уточнил он.

— Одинокие качели с легкими педофилическими наклонностями ищут детские попки, — решила пошутить я.

Он засмеялся:

— Вот поэтому...

— Что?

— Вот поэтому ты мне и нравишься. Ты хоть понимаешь, как редко можно встретить красивую девушку, способную образовать прилагательное от «педофила»? Ты так стараешься быть собой, что даже не догадываешься, насколько ты уникальна.

Я глубоко вдохнула через нос. В мире всегда не хватает воздуха, но в тот момент я ощутила это особенно остро.

Мы писали объявление, поправляя друг друга, и в конце концов остановились на таком варианте:

«Качели, не новые, но хорошо сохранившиеся, ищут новый дом. Дайте своему ребенку или детям воспоминания, чтобы однажды он, она или они выглянули на задний двор и остро ощутили сентиментальную ностальгию, как я сегодня. Бытие хрупко и мимолетно, о читатель, но с этими качелями ваш(и) ребенок (дети) познакомятся с взлетами и падениями человеческой жизни безопасно и ненавязчиво и усвоят важную вещь: как сильно ни отталкивайся и как высоко ни взлети, а выше головы не прыгнешь!»

В данный момент качели обитают неподалеку от Восемьдесят третьей и Спринг-Милл».

После этого мы включили телевизор, но не нашли ничего стоящего, поэтому я взяла с прикроватной тумбочки «Царский недуг» и принесла в гостиную, и Огастус Уотерс читал вслух, а мама готовила ленч и слушала.

— «Стеклянный мамин глаз повернулся внутрь», — начал Огастус. Пока он читал, я влюбилась — так, как мы обычно засыпаем: медленно, а потом вдруг сразу.

Проверив час спустя почту, я обнаружила толпу потенциальных покупателей — нам было из кого выбрать. Поразмыслив, мы остановились на человеке по имени Дэниел Альварес, который прислал фотографию своих троих детей за компьютерной игрой и подписал: «Я очень хочу, чтобы они хоть изредка гуляли». Я написала ему и предложила забрать качели, когда ему будет удобно.

Огастус спросил, не хочу ли я поехать с ним в группу поддержки, но я устала от напряженного дня Боления Раком и отказалась. Мы вместе сидели на диване, когда он сначала вдруг рывком встал, а потом тут же упал обратно и быстро поцеловал меня в щеку.

— Огастус! — воскликнула я.

— По-дружески, — заверил он, снова оттолкнулся и на этот раз встал по-настоящему. Сделав два шага к моей матери, он сказал: — Видеть вас всегда удивительно приятно. — И мама раскрыла ему объятия, а он нагнулся, поцеловал мою маму в щеку и обернулся: — Видишь?

Я пошла спать сразу после ужина, и урчание ИВЛ заглушило звуки остального мира за пределами моей комнаты.



Качелей я больше никогда не видела.

Я спала долго, десять часов, возможно, из-за медленного выздоровления, или потому, что сон борется с раком, или потому, что я подросток без определенного времени пробуждения. Я еще недостаточно окрепла, чтобы вернуться к занятиям в колледже. Когда я почувствовала, что уже хочу встать, я сняла маску ИВЛ, вставила в нос канюли, включила кислородный аппарат и вынула из-под кровати ноутбук — я сунула его туда накануне вечером.

В почте оказалось письмо от Лидевью Влигентхарт.

Дорогая Хейзел!

Я получила уведомление от «Джини», что вы с Огастусом Уотерсом и вашей матушкой будете в Ам-

стердаме четвертого мая. Осталась всего неделя! Питер и я очень рады и с нетерпением ждем возможности с вами познакомиться. Ваш отель, «Философ», всего через улицу от дома Питера. Наверное, дадим вам денек прийти в себя после перелета и, если вам удобно, встретимся в доме Питера пятого мая часиков в десять утра, и за чашкой кофе он ответит на ваши вопросы о его романе. А после, если захотите, можем пройтись по музеям или посетить дом Анны Франк.

С самыми наилучшими пожеланиями

Лидевью Влигентхарт,

помощник-референт сэра Питера ван Хутена,

автора «Царского недуга».

— Мама, — сказала я. Она не ответила. — Мама!! — заорала я. Снова ничего: — Ма-ма!!!

Она вбежала, завернувшись в старое вытертое розовое полотенце, придерживая его под мышками, мокрая и слегка испуганная:

— Что случилось?

— Ничего. Прости, я не знала, что ты в душе, — сказала я.

— В ванной, — поправила мама. — Я... — Она закрыла глаза. — Просто хотела пять секунд полежать в ванне. Прости. Что случилось?

— Можешь позвонить в «Джини» и сказать, что поездка отменяется? Я получила и-мейл от помощницы Питера ван Хутена, она думает, что мы едем...

Мать поджала губы и, прищурившись, посмотрела куда-то мимо меня.

— Что? — спросила я.

— Я не должна говорить тебе до прихода папы...

— Что? — взвыла я.

— Поездка не отменяется, — объяснила она наконец. — Вчера нам звонила доктор Мария и произнесла убедительную речь, что ты должна жить своей жи...

— Мамуля, я тебя обожаю!!! — завопила я, она подошла к кровати и позволила себя обнять.

Я написала Огастусу сообщение, потому что он был в школе.

«Третьего мая ты еще свободен?» 😊

Он немедленно ответил: «Все понял. Уотерс».

Если проживу еще неделю, то узнаю все ненаписанные секреты матери Анны и Тюльпанового Голландца. Я заглянула себе за ворот блузки.

— Подведете — убью, — прошептала я своим легким.

## Глава 9

За день до того как лететь в Амстердам, я посетила группу поддержки — впервые после знакомства с Огастусом. Состав пребывающих буквально в сердце Иисуса несколько изменился. Я приехала рано, и вечно сильная Лида со своим аппендикулярным раком пересказывала мне последние новости, пока я ела магазинное печенье с шоколадной крошкой, прислонясь к столу с десертами.

Двенадцатилетний Майкл с лейкемией умер — по словам Лиды, после отчаянной борьбы. Можно подумать, существует другая манера бороться. Остальные пока ходят. Кену после курса облучения ставят «отсутствие признаков рака». «У Лукаса рецидив», — сказала Лида с грустной улыбкой, дернув плечиком, как говорят об алкоголике, который снова запил.

Красивая пухленькая девочка подошла к столу поздороваться с Лидой и представилась мне: «Сьюзен». Я не знала, что у нее, но заметила шрам, идущий вдоль носа до губы и дальше через щеку. Она старалась замазать его косметикой, но только сделала еще заметнее. Я начала немного задыхаться от долгого стояния, но только я сказала: «Пойду присяду», как дверцы лифта открылись и появился Айзек с матерью. Айзек был в темных очках, одной рукой он цеплялся за мать, а другой держал трость.

— Хейзел из группы поддержки, не Моника, — предупредила я, когда он подошел достаточно близко.

Айзек улыбнулся и сказал:

— Привет, Хейзел. Как дела?

— Прекрасно. С тех пор как ты ослеп, я сказочно похорошела.

— Наверняка, — согласился он. Мать подвела его к стулу, поцеловала в макушку и побрела обратно к лифту. Он ошупью опустился на сиденье. Я устроилась рядом.

— А как твои дела?

— Нормально. Отпустили домой, дома вроде лучше. Гас сказал, тебя клали в интенсивную?

— Да, — подтвердила я.

— Фигово, — подытожил он.

— Мне уже гораздо лучше, — заверила я. — Завтра еду с Гасом в Амстердам.

— Знаю. Я в курсе всех твоих новостей, потому что Гас. Не. Способен. Говорить. Ни. О. Чем. Другом.

Я улыбнулась. Патрик откашлялся и сказал:

— Давайте присядем. — Тут он заметил меня: — Хейзел! Как я рад тебя видеть!

Все сели, Патрик принялся рассказывать историю потери своей кошечки, а я, как обычно, обменивалась вздохами с Айзеком, жалея всех в этом подвале, а заодно и за его пределами, перестав слушать разговор и сосредоточившись на своей боли и удушье. Мир живет своей жизнью, даже если я участвую в этом вполсилы. Из задумчивости меня вывело произнесенное кем-то мое имя.

Говорила Лида Сильная, Лида в Ремиссии, светловолосая, налитая, крепкая Лида, которая выступает за свою школу в соревнованиях по плаванию. Лида, потерявшая только аппендикс, произнесла мое имя, сказав:

— Хейзел меня ну так вдохновляет! Она не сдаётся, она продолжает бороться. Просыпается каждое утро и начинает борьбу не жалуясь. Она такая сильная, намного сильнее меня. Хотела бы я иметь такую силу!

— Хейзел! — сказал Патрик. — Что ты чувствуешь при этих словах?

Я пожала плечами и посмотрела на Лиду:

— Хоть сейчас отдам тебе свою силу в обмен на твою ремиссию.

Едва я договорила, мне сразу стало стыдно.

— По-моему, Лида имела в виду другое, — сказал Патрик. — Я думаю, она...

Но я уже перестала слушать.

Помолившись за живых и выслушав бесконечную литанию мертвых (с Майклом в самом конце), мы взяли за руки и сказали:

— Жить сегодня, как в лучший в жизни день!

Лида тут же подбежала ко мне, переполняемая извинениями и объяснениями, но я отмахнулась:

— Все в порядке. — И добавила, обращаясь к Айзеку: — Хочешь проводить меня наверх?

Он взял меня под руку, и я пошла с ним к лифту, радуясь, что нашла предлог не подниматься по лестнице. Я почти дошла до лифта, когда увидела его мать, стоявшую в уголке Буквального Сердца.

— Я тут, — сказала она Айзеку.

Он переключился с моей руки на мамину и спросил:

— Хочешь к нам в гости?

— С удовольствием, — согласилась я. Мне было очень его жаль. Терпеть не могу, когда люди относятся ко мне сочувственно, но ничего не могла с собой поделать: я очень сочувствовала Айзеку.

Айзек жил в маленьком частном доме в Меридиан-Хиллз рядом со своей дорогой частной школой. Мы сели в гостиной, его мать ушла в кухню готовить ужин, и Айзек спросил, не хочу ли я сыграть.

— Давай, — сказала я. Он попросил пульт, я подала, и он включил телевизор и подключенный к нему компьютер. Телеэкран остался черным, но через несколько секунд оттуда раздался низкий голос.

— «Дезинформация», — послышался голос. — Один игрок или два?

— Два, — ответил Айзек. — Пауза. — Он повернулся ко мне: — Я часто играю с Гасом, но меня бесит, что в видеоиграх он законченный самоубийца. Слишком агрессивно бросается спасать мирных жителей и вообще.

— Да уж. — Я вспомнила Ночь разбитых призов.

— Снять паузу, — скомандовал Айзек.

— Первый игрок, идентифицируйте себя.

— Сейчас звучит сексуальный голос первого игрока.

— Второй игрок, идентифицируйте себя.

— Я буду вторым игроком, наверное, — отозвалась я.

— Старший сержант Макс Мейхем и рядовой Джаспер Джекс проснулись в темной пустой комнате площадью примерно двенадцать квадратных футов.

Айзек показал на экран, будто я должна говорить с ним или еще что.

— Хм, — сказала я. — Выключатель есть?

— Нет.

— А дверь есть?

— Рядовой Джекс нащупал дверь. Она заперта.

— Над притолокой есть ключ, — вмешался в разговор Айзек.

— Да.

— Мейхем открывает дверь.

— В комнате по-прежнему абсолютно темно.

— Достаю нож, — сказал Айзек.

— Достаю нож, — прибавила я.

Из кухни выскочил мальчишка — брат Айзека, подумала я, — лет десяти, тощий жилистый непоседа, вприпрыжку пробежал через гостиную и крикнул, очень хорошо подражая голосу Айзека:

— И закальваюсь.



— Сержант Мейхем вонзает нож себе в шею. Вы уверены, что...

— Нет, — сказал Айзек. — Пауза. Грэм, не заставляй меня подниматься и навешивать тебе пинков.

Грэм залился бессмысленным смехом и убежал в коридор.

Мейхем с Джексом, то есть Айзек и я, пробирались по пещере, пока не наткнулись на какого-то типа. Когда он признался, что мы в украинской подземной тюрьме на глубине мили, мы прирезали его. Звуковые эффекты — шум бурной подземной реки, голоса, говорившие по-украински и на ломаном английском, — вели нас по пещере, но на экране царила сплошная чернота. Через час игры мы услышали отчаянные крики заключенного, умолявшего:

— Боже, помоги мне! Боже, помоги мне!

— Пауза, — произнес Айзек. — Вот тут Гас всегда настаивает, чтобы найти заключенного, хотя так нельзя выиграть, а единственный способ спастись — это выиграть игру.

— Да, Гас воспринимает видеоигры чересчур серьезно, — сказала я. — Он по уши влюблен в метафору.

— Тебе он нравится? — спросил Айзек.

— Конечно, нравится. Он классный.

— Но встречаться с ним ты не хочешь?

Я пожала плечами:

— Все не так просто.

— Отчего же, я понимаю. Ты не хочешь давать ему то, с чем он не сможет справиться. Не хочешь, чтобы он поступил с тобой, как Моника со мной.

— Ну, вроде того, — согласилась я, хотя на самом деле все обстояло не так. Я боялась стать для него таким вот Айзеком. — Если честно, — сказала я, — ты тоже поступил с Моникой не совсем красиво.

— В чем это я с ней не так поступил? — ошетинился он.

— Ну как же? Взял и ослеп!

— Это не моя вина, — отрезал Айзек.

— Я не говорю, что это твоя вина. Я говорю, что это было не очень красиво.

## Глава 10

В Амстердам нам предстояло отправиться с одним чемоданом. Я нести тяжелое не могла, а мама настаивала, что тащить двойной багаж в одиночку ей не под силу. Пришлось плести интриги за черный чемодан, который родителям подарили на свадьбу миллион лет назад. Такому чемодану проводить бы жизнь в экзотических странах, но он в основном катался до Дейтона и обратно: у «Недвижимости Морриса, инк.» там находился дополнительный офис, куда папа частенько мотался по делам.

Я уверяла, что мне полагается ббольшая часть чемодана, потому что без меня и моего рака мы вообще никогда не попали бы в Амстердам. Мама возражала, что она вдвое крупнее меня и ей требуется физически больше ткани, чтобы прикрыть наготу, поэтому претендовала минимум на две трети чемоданной площади.

В конце концов получилось ни нашим, ни вашим, и все остались довольны.

Самолет вылетал около полудня, но мама разбудила меня в полшестого — включила свет и закричала: «Амстердам!» Она бегала все утро, проверила, взяли ли мы международные адаптеры к вилкам, в четвертый раз убедилась, что у нас достаточно баллонов с кислородом и все полные. Я вылезла из постели и натянула мой дорожный костюм для Амстердама (джинсы, розовую майку и черный кардиган на случай, если в самолете будет холодно).

В машину все погрузили в пятнадцать минут седьмого, после чего мама настояла, чтобы мы позавтракали всей семьей, хотя я про себя очень возражала есть до рассвета: я ведь не русская крестьянка девятнадцатого века, которой предстоит весь день работать в поле. Я вяло жевала яичницу, а мама с папой уплетали домашнюю версию оладий с яйцом «Эгг Макмаффинс», которые им очень нравились.

— Почему некоторым блюдам навсегда отведена участь завтрака? — спросила я. — Почему мы не едим на завтрак карри?

— Хейзел, кушай.

— Но почему? — настаивала я. — Кроме шуток, как яичница заняла эксклюзивное положение среди завтраков? Можно положить на хлеб бекон, и все отнесутся нормально, но стоит положить на хлеб яичницу — бац, и это завтрак?

Папа ответил с полным ртом:

— Когда вернешься, будем есть завтрак на ужин. Договорились?

— Не хочу я завтрака на ужин, — отрезала я, перекрещивая нож и вилку над почти полной тарелкой. — Я хочу на ужин яичницу без нелепого утверждения, что яичница — это завтрак, даже если ее едят на ужин.

— Конечно, ты сама расставляешь приоритеты в своей жизни, Хейзел, — сказала мама, — но если именно в этом вопросе ты хочешь стать победителем, мы охотно уступим тебе первое место.

— Даже целый пьедестал почета, — подтвердил папа, и мама засмеялась.

Это, конечно, глупо, но мне стало обидно за яичницу.

Когда они поели, папа вымыл посуду и повел нас к машине. Он, разумеется, расплакался и поцеловал меня, коснувшись мокрой колючей щекой. Прижавшись носом к моей скуле, он прошептал:

— Я тебя люблю и очень тобой горжусь.

Не представляю за что.

— Спасибо, пап.

— Скоро увидимся, да, деточка? Я тебя очень люблю.

— Я тоже тебя люблю, пап, — улыбнулась я. — Нас не будет всего три дня.

Пока мы задним ходом выезжали на улицу, я махала папе, а он махал в ответ и плакал. Мне пришло в голову, что он, наверное, думает, будто может больше меня не увидеть, как думает об этом каждое утро своей рабочей жизни, уходя в офис, который, наверное, с радостью бы бросил.

Мы с мамой подъехали к дому Огастуса. Мама хотела, чтобы я осталась в машине и отдохнула, но я все-таки пошла с ней к дверям. С крыльца было слышно, что в доме кто-то плачет. Я сперва не думала, что это Гас, потому что звуки ничем не напоминали его низкий сексуальный голос, но через секунду разобрала, как он выкрикивает сдавленным голосом: «Потому что это моя жизнь, мам, моя!» Мать тут же обняла меня за плечи и быстро повела к машине.

— Мам, что случилось? — спросила я.

А она сказала:

— Подслушивать нехорошо, Хейзел.

Из машины я отправила Огастусу сообщение, что мы подъехали и ждем, пусть выходит, как будет готов.

Некоторое время мы смотрели на дом. Странная штука, но снаружи дома за редким исключением ничем не выдают, что происходит в их стенах, хотя там проходит большая часть нашей жизни. Может, в этом и состоит глобальная цель архитектуры?

— М-да, — протянула мама некоторое время спустя. — Рановато мы приехали, пожалуй.

— Похоже, мне не было смысла вскакивать в полшестого, — кивнула я. Из консоли между нами мама достала чашку с кофе, и я сделала глоток. Мой телефон зажужжал. Огастус писал: «НИКАК не могу решить, что надеть. Я тебе больше нравлюсь в рубашке-поло или с пуговицами?»

Я ответила: «С пуговицами».

Через тридцать секунд входная дверь открылась, и на пороге появился улыбающийся Огастус, катя за собой чемодан на колесиках. Он был в отглаженной небесно-голубой рубашке, заправленной в джинсы и застегнутой до горла. С губы свисала «Кэмел лайт». Мама вышла поздороваться. Он моментально вынул сигарету и заговорил уверенно:

— Всегда рад вас видеть, мэм.

Я смотрела в зеркало, как мама открывает багажник. Через несколько секунд Огастус распахнул дверцу за мной и занялся нелегким делом усаживания на заднее сиденье с одной ногой.

— Хочешь на переднее? — спросила я.

— Ни за что, — заявил он. — Привет, Хейзел Грейс.

— Привет, — отозвалась я. — Ладно?

— Ладно, — сказал он.

— Ладно, — повторила я.

Мама села за руль и захлопнула дверцу.

— Следующая остановка — Амстердам, — объявила она.

Это было не совсем правдой. Следующей остановкой стала парковка аэропорта, затем на автобусе мы поехали в терминал, и открытый электромобиль доставил нас к очереди на досмотр. Парень в форме администрации транспортной безопасности у самой рамки кричал о том, что лучше бы никто не пытался провозить взрывчатые вещества, оружие и любые жидкости в объеме свыше трех унций. Я сказала Огастусу:

— Путевые заметки: стояние в очереди — одна из форм угнетения.

Он согласился.

Не желая подвергаться личному досмотру, я прошла через металлодетектор без тележки, баллона и даже пластиковых трубок в носу. Проход через рентген стал первым за несколько месяцев эпизодом, когда я оказалась без кислорода. Было просто потрясающе шагать вот так, без всего, пересечь Рубикон под молчание рамки, признавшей меня, хоть и ненадолго, не содержащим металла существом.

Я чувствовала суверенитет своего тела, который даже затрудняюсь описать. Разве что можно сравнить с тем, как в детстве я таскала весьма тяжелый рюкзак с учебниками; когда я его снимала, то казалось, что я готова взлететь.

Через десять секунд мои легкие начали складываться, как цветы на закате. Я присела на серую скамейку сразу за рентгеном, пытаюсь отдышаться, но только хрипло, с каким-то дребезжанием кашляла и чувствовала себя из рук вон плохо до тех пор, пока канюли не вставили на место.

Но даже теперь все болело. Боль всегда была рядом, обращала мое внимание внутрь, требовала, чтобы ее чувствовали. Я словно могла очнуться, если что-либо вовне отвлекло меня. Мама со встревоженным видом произнесла несколько слов. Что она сказала? Затем я вспомнила. Она спросила, что случилось.

— Ничего, — ответила я.

— Амстердам! — громким шепотом воскликнула она.

Я улыбнулась:

— Амстердам.

Мама взяла меня за руку и потянула вверх, помогая встать.

Мы подошли к выходу на посадку за час до назначенного времени.

— Миссис Ланкастер, вы впечатляюще пунктуальный человек, — заметил Огастус, усаживаясь рядом со мной в практически пустом зале ожидания.

— Этому способствует то, что я, строго говоря, ничем не занимаюсь, — ответила мама.

— У тебя дел по горло, — возразила я, хотя сразу пришло в голову, что мама занимается в основном мной. Еще ее работой можно назвать семейную жизнь с папой — он до сих пор как ребенок в общении с банком, вызове сантехников, готовке и вообще во всем, кроме своей работы в «Недвижимости Морриса, инк.», — но в основном мамина забота, конечно, я. Ее основная причина жить и моя основная причина жить тесно переплетаются между собой.

Когда места у входа начали заполняться, Огастус произнес:

— Схожу куплю гамбургер. Принести тебе что-нибудь?

— Нет, — ответила я. — Но я высоко ценю твой отказ подчиняться социальным конвенциям в отношении завтраков.

Он озадаченно наклонил голову, глядя на меня с вопросом.

— Хейзел возмущает гетторизация яичницы, — пояснила мама.

— Форменное безобразие, что мы идем по жизни, слепо принимая тот факт, что яичница прочно ассоциируется с утренним приемом пищи.



— Я хочу поговорить об этом подробнее, — сказал Огастус. — Но я умираю с голоду. Сейчас вернусь.

Когда Огастус не появился спустя двадцать минут, я поделилась с мамой опасениями, не случилось ли с ним что-нибудь, но она оторвалась от своего противного журнала лишь на секунду, утешив:

— Наверное, пошел в туалет.

Подошла служащая аэропорта и сменила мой кислородный баллон на тот, который предоставила авиакомпания. Мне стало неловко от того, что на глазах у всех передо мной на коленях стоит женщина, поэтому, пока меняли баллон, я набрала Огастусу сообщение.

Он не ответил. Мама этим ничуть не озаботилась, зато я уже вообразила себе все несчастья, способные сорвать поездку в Амстердам (арест, травму, нервный срыв). В груди у меня творилось что-то неладное — только на этот раз рак был ни при чем, — а минуты все шли.

Только когда служащая за билетной стойкой объявила, что они начинают предварительную посадку людей, которым может понадобиться чуть больше времени, — все до единого ожидающие откровенно обернулись ко мне, — я увидела, как Огастус быстро хромотает к нам с пакетом «Макдоналдса» в руке и рюкзаком на плече.

— Где ты был? — спросила я.

— Прости, очередь была длинная, — ответил он, протягивая руку. Держась за руки, мы пошли к выходу на предварительную посадку.

Я чувствовала на себе любопытные взгляды: все гадали, чем мы больны, и смертельно ли, и думали, какая героическая женщина моя мать. Иногда это худшее в участи больного раком — физические признаки болезни отделяют тебя от других. Мы были однозначно и окончательно другими, и это проявилось с особенной очевидностью, когда мы втроем шли

по пустому салону самолета, а стюардесса сочувственно кивала и жестами приглашала к нашим местам в самом хвосте. Я села на среднее из трех кресел, Огастус у окошка, а мама — у прохода. Мама меня немного потеснила, поэтому я подвинулась к Огастусу. Наши места оказались сразу за крылом самолета. Гас открыл пакет и развернул бургер.

— Насчет яичницы, — начал он. — Я считаю, что насильственное зачисление в разряд завтраков придает ей некоторую сакральность. Бекон и чеддер можно найти в любое время где угодно — в тако, в бутербродах для завтрака, в виде сыра на гриле, — но яичница — это святое.

— Абсурд, — сказала я. Салон начал заполняться. Я не хотела ни на кого смотреть, поэтому отвернулась, а отвернуться означало уставиться на Огастуса.

— Я лишь хочу сказать, яичница действительно до некоторой степени гетторизирована, но вместе с тем ее особо выделяют. Для нее есть место и время, как для походов в церковь.

— Трудно ошибаться сильнее, — заявила я. — Тебя обманывают вышитые крестиком сентиментальные изречения на думках твоих родителей. Ты оспариваешь право хрупкой и редкой вещи быть красивой просто потому, что она хрупка и редка. Но это же ложь, и ты это знаешь.

— Трудно тебе угодить, — сделал вывод Огастус.

— Поверхностные аргументы не дают душевного успокоения, — парировала я. — Когда-то и ты был редким и хрупким цветком, ты же это помнишь.

Секунду он молчал.

— Ты знаешь, как заставить меня замолчать, Хейзел Грейс.

— Это моя привилегия и моя ответственность, — ответила я.

Прежде чем я отвела глаза, он сказал:

— Слушай, прости, что не остался в зале ожидания. Очередь в «Макдоналдсе» была не особо длинной, просто я... не хотел, чтобы все на нас пялились.

— В основном на меня, — заметила я. При взгляде на Гаса невозможно понять, чем он болел, но я ношу свою болезнь с собой снаружи, и отчасти по этой причине я стала домоседкой: — Огастус Уотерс, юноша редкой харизмы, стесняется сидеть рядом с девушкой с кислородным баллоном.

— Не стесняюсь я, — возразил он. — Просто эти люди выводят меня из себя. А сегодня я не хочу злиться! — Он извлек из кармана и открыл свою пачку сигарет.

Через девять секунд стюардесса-блондинка подбежала к нашим креслам и сказала:

— Сэр, на борту курить нельзя. Это общее правило для всех самолетов.

— Я не курю, — ответил Огастус. Сигарета дергалась у него во рту, когда он говорил.

— Но...

— Это метафора, — объяснила я. — Он кладет опасный для жизни предмет себе в рот, но не дает ему возможности убивать.

Стюардесса растерялась всего на секунду.

— На время сегодняшнего полета такая метафора запрещена, — сказала она. Гас кивнул и убрал сигарету в пачку.

Наконец мы выехали на взлетную полосу, и пилот объявил: «Просьба пассажирам приготовиться к взлету», после чего два огромных реактивных двигателя взревели и самолет начал ускоряться.

— Вот так с тобой в машине ездить, — сказала я. Гас улыбнулся, но челюсти у него были сжаты. Я спросила: — Ты в порядке? — Мы набирали скорость. Гас вдруг вцепился в подлокотник, его глаза расширились. Я накрыла его руку своей и спросила еще раз: — Ты в порядке? — Он ничего не ответил, глядя на меня вытаращенными глазами. — Ты что, боишься летать? — не выдержала я.

— Я тебе отвечу через минуту, — пробормотал он. Нос самолета поднялся, и мы оказались в воздухе. Гас смотрел в окно, как планета под нами стремительно уменьшается, и его рука под моей расслабилась. Он взглянул на меня и снова в окно. — Мы летим, — объявил он.

— Ты никогда раньше не летал?

Он покачал головой.

— Смотри! — чуть не закричал он, указывая в окно.

— Да, — сказала я. — Да, я вижу. Похоже, мы в самолете.

— За всю историю человечества ничто никогда вот так не выглядело! — объявил он. Его энтузиазм был прелестным. Я не удержалась и поцеловала его в щеку.

— Не забывай о моем присутствии, — предупредила мама. — Я сижу рядом, твоя мама, которая держала тебя за ручку, пока ты училась ходить.

— Всего лишь дружеский поцелуй, — оправдывалась я, поворачиваясь и целуя и ее заодно.

— А показался больше чем дружеским, — пробубнил Гас достаточно громко, чтобы я слышала. Когда из питающего слабость к метафорам и широким жестам Огастуса выглянул удивленный, ликующий и неискушенный Гас, я буквально не смогла устоять.

Мы быстро долетели до Детройта, где нас встретил маленький электромобиль и отвез к выходу, где шла посадка на рейс до Амстердама. В этом самолете на спинках кресел были телевизоры, и, поднявшись выше облаков, мы с Огастусом настроили наши телики так, чтобы одновременно начать смотреть одну и ту же романтическую комедию. Но хотя кнопки мы нажали абсолютно синхронно, его фильм начался на пару секунд раньше моего, и всю комедию он уже хохотал, а я еще слушала шутку.

Согласно маминному плану, несколько часов полета мы должны были проспять, чтобы, приземлившись в восемь утра, выйти в город готовыми высосать из жизни костный мозг — в смысле взять от нее все. Поэтому после окончания фильма мама, Огастус и я приняли снотворное. Мама отрубилась через несколько секунд, а мы с Огастусом молча смотрели в окно. День был ясный, и хотя нам не было видно заходящего солнца, мы могли наблюдать всю палитру красок закатного неба.

— Боже, как красиво, — сказала я в основном себе.

— Восходящее солнце слишком ярко в ее угасавших глазах, — процитировал он строчку из «Царского недуга».

— Оно заходящее, — поправила я.

— А где-то восходящее, — ответил он и через секунду добавил: — Путевые заметки: было бы здорово облететь земной шар на супербыстром самолете, который успевал бы за восходом.

— И я бы дольше прожила. — Гас взглянул на меня сбоку. — Ну как же, теория относительности и все такое. — Он все еще пребывал в замешательстве. — Мы стареем медленнее, когда движемся, чем когда стоим. Сейчас, например, время течет для нас медленнее, чем для тех, кто на земле.

— Умные какие эти студентки, — сказал Огастус.

Я округлила глаза. Он толкнул мою ногу коленом (настоящим), и я пихнула его коленкой в ответ.

— Спать хочешь? — спросила я.

— Ни в одном глазу, — ответил он.

— Я тоже, — согласилась я. Снотворные и наркотические средства действуют на меня иначе, чем на здоровых.

— Хочешь еще кино посмотреть? — спросил он. — У них есть фильм с Портман эры Хейзел.

— Я хочу посмотреть то, чего ты еще не видел.

В конце концов мы выбрали «Триста спартанцев», защищавших Спарту от персидской армии численностью, судя по всему, не меньше миллиарда. Фильм у Огастуса опять начался раньше моего, и спустя несколько минут его комментариев «Оп-па!» и «Готов!» всякий раз, как кого-то убивали особенно изощренным способом, я перегнулась через подлокотник и положила голову Гасу на плечо, чтобы видеть его экран и смотреть кино вместе.

«Триста спартанцев» отличались обилием полуголых, натертых маслом молодых парней в кожаных ремнях, поэтому смотрелся фильм легко, утомляло лишь размахивание мечами без какого-либо эффекта. На экране громоздились горы тел персов и спартанцев, и было непонятно, отчего персы такие жестокие, а спартанцы такие красивые. «Современность», если цитировать «Царский недуг», «специализируется на таких боях, в которых никто ничего не теряет, кроме своей жизни, и то не обязательно». Эта битва титанов оказалась тем самым

случаем.

Ближе к концу фильма почти все умерли, и наступил безумный момент, когда спартанцы стали укладывать тела своих покойников одно на другое, чтобы сложить стену из трупов. Мертвые стали массивным блокпостом между персами и дорогой на Спарту. Я нашла чернуху слегка неоправданной, поэтому отвела глаза от экрана и спросила Огастуса:

— Как думаешь, сколько всего мертвецов?

Он отмахнулся:

— Ш-ш-ш! Сейчас самое интересное!

Когда персы пошли в атаку, им пришлось перелезть через стену из мертвых, а спартанцы заняли господствующую высоту на этой горе трупов, и, когда падали новые убитые, стена из тел мучеников становилась выше и сложнее для преодоления, и все размахивали мечами, слали стрелы, и реки крови лились по Горе Мертвецов и так далее.

Я подняла голову с плеча Гаса — надоели трупы! — и поглядела, как он смотрит кино. Он не удержал своей дурацкой улыбки. Скосив глаза, я видела на своем телевизоре, как на экране громоздятся все новые тела воюющих. Когда персы наконец одолели спартанцев, я снова посмотрела на Огастуса. Даже при том, что хорошие парни проиграли, Огастус выглядел откровенно радостным. Я снова положила голову к нему на плечо, но не открывала глаз, пока бой не закончился.

Когда пошли титры, он стащил наушники и сказал:

— Извини, меня захватило благородство их жертвы. Что ты говорила?

— Как думаешь, сколько всего умерло?

— Сколько вымышленных персонажей умерло в придуманном кино? Недостаточно, —

пошутил он.

— Нет, я имею в виду, вообще сколько людей умерло за всю историю?

— Я случайно знаю точный ответ, — отозвался Гас. — Сейчас на Земле семь миллиардов живых и около девяносто восьми миллиардов мертвых.

— Оууу, — протянула я. Мне казалось, что за счет быстрого роста населения в мире сейчас окажется больше живых, чем умерших за все времена.

— На каждого живого приходится по четырнадцать мертвых, — сказал он. Титры все шли. Много времени понадобилось, чтобы идентифицировать все киношные трупы, подумала я, не убирая голову с плеча Огастуса. — Я искал эту информацию пару лет назад, — продолжал он. — Мне было интересно, можно ли помнить всех. Ну если организовать и закрепить за каждым живущим определенное количество умерших, хватит ли живых, чтобы помнить всех мертвых?

— И как, хватит?

— Конечно, любой в состоянии запомнить четырнадцать фамилий. Но мы скорбим неорганизованно, поэтому многие наизусть помнят Шекспира и никто не помнит человека, которому он посвятил свой Пятьдесят пятый сонет.

Я согласилась.

Минуту мы молчали, потом он спросил:

— Хочешь почитать?

Я сказала: конечно! Я читала длинную поэму «Вой» Аллена Гинсберга, заданную нам по поэзии, а Гас перечитывал «Царский недуг».



Через некоторое время он спросил:

— Ну что, читать можно?

— Стихи? — переспросила я.

— Да.

— Можно, хорошая вещь. Герои этой поэмы принимают больше лекарств, чем я. А как «Царский недуг»?

— По-прежнему идеален, — ответил он. — Почитай мне.

— Эти стихи не годятся для чтения вслух, когда сидишь рядом со спящей матерью. В них содомия и «ангельская пыль».[9]

— Это же мои любимые занятия! — обрадовался Гас. — Ладно, тогда почитай мне что-нибудь еще.

— Хм, — сказала я. — У меня больше ничего нет.

— Жалко, такое поэтическое настроение пропадает. А на память ничего не знаешь?

— «Давай с тобой пойдём, — начала я, волнуясь. — Вот вечер распростерся, как больной с эфирной маской на столе хирурга»...

— Помедленнее, — попросил он.

Меня охватило смущение, как в тот раз, когда я впервые сказала ему о «Царском недуге».

— Ладно, сейчас. «Пойдем по улицам полупустым / мимо бормочущих притонов, где номера сдаются на ночь / бессонную, и мимо кабаков, где пол усеян / опилками и раковинами устриц. / Томительным спором тянутся улицы, / ведя тебя с тайным намереньем / к вопросу последнему, главному, вечному... / Не спрашивай какому, лишь иди».

— Я влюблен в тебя, — тихо произнес он.

— Огастус, — сказала я.

— Влюблен, — повторил он, глядя на меня, и я заметила морщинки в уголках его глаз. — Я влюблен в тебя, а у меня не в обычае лишать себя простой радости говорить правду. Я влюблен в тебя, я знаю, что любовь — всего лишь крик в пустоту, забвение неизбежно, все мы обречены, и придет день, когда всё обратится в прах. Я знаю, что Солнце поглотит единственную Землю, какую мы знали, и я влюблен в тебя.

— Огастус, — снова произнесла я, не зная, что еще добавить. Во мне все поднялось, затопив меня странной болезненной радостью, но я физически не могла сказать об этом. Я смотрела на него и позволяла смотреть на меня, пока он не кивнул, сжав губы, и отвернулся, уперевшись лбом в стекло.

Огастус вроде бы заснул. Я в конце концов тоже отключилась и очнулась, только когда самолет зашел на посадку и выпустил шасси. Во рту стоял мерзкий вкус, и я старалась не открывать рот, чтобы не отравлять воздух в салоне.

Я взглянула на Огастуса — он смотрел в окно. Мы нырнули под низко висевшие тучи, и я вытянулась, чтобы увидеть Нидерланды. Казалось, земля затонула в океане — маленькие прямоугольники зелени, со всех сторон обведенные каналами. Мы и приземлились параллельно каналу, будто было две посадочные полосы: одна для нас и одна — для водоплавающих птиц.

Забрав чемоданы и пройдя таможду, мы погрузились в такси, где за рулем сидел лысый толстяк, говоривший на прекрасном английском, лучше, чем мой.

— Отель «Философ»... — начала я.

А он мне:

— Вы американцы?

— Да, — обрадовалась мама. — Мы из Индианы.

— Индиана, — протянул таксист. — Украли землю у индейцев, а название оставили?

— Что-то вроде, — ответила мама. Кэбби влился в поток машин, направлявшийся к большому шоссе, размеченному множеством синих знаков с обилием двойных гласных: Оостузен, Хаарлем. По обеим сторонам шоссе милями тянулась пустая плоская земля; монотонность пейзажа нарушали иногда попадавшиеся огромные центральные офисы корпораций. Словом, Нидерланды ничем не отличались от Индианаполиса, только машины здесь были помельче.

— Это и есть Амстердам? — спросила я водителя.

— И да и нет, — ответил он. — Амстердам как годовые кольца у дерева: чем ближе к центру, тем он старше.

Все случилось неожиданно: мы съехали с шоссе, и появились ряды домов, словно из моего воображения, опасно накренившихся над каналами, вездесущие велосипеды и кофейни с объявлениями «Большой зал для курящих». Мы проехали через канал, и с верхней точки моста я увидела десятки плавучих домов, пришвартованных вдоль берегов. В этом не было ничего американского. Это походило на ожившую старинную картину, пронзительно идиллическую под утренним солнцем, и я подумала: как чудесно и странно было бы жить там, где практически все построено уже умершими!

— А что, эти дома очень старые? — спросила мама.

— Многие из домов над каналами построены в Золотом — семнадцатом — веке, — ответил таксист. — У нашего города богатая история, хотя многих туристов интересует только квартал красных фонарей. — Он помолчал. — Приезжие считают Амстердам городом грехов, но на самом деле это город свободы. А в свободе большинство видит грех.

Все номера в гостинице «Философ» были названы в честь философов. Нас с мамой поселили на первом этаже в Кьеркегоре, а Огастуса на втором, в Хайдеггере. Номер был маленький: двойная кровать, придвинутая к стене, с моим ИВЛ, концентратором кислорода и десятком многоцветных кислородных баллонов у изножья; продавленное пыльное кресло с обивкой пейсли и стол, а над кроватью — книжная полка с собранием сочинений Серена Кьеркегора. На столе мы нашли плетеную корзину с подарками от «Джини»: деревянные башмаки, оранжевую футболку с Нидерландами, шоколадки и тому подобное.

«Философ» находился рядом с Вондельпарком, самым знаменитым парком Амстердама. Мама хотела тут же пойти погулять, но я порядком вымоталась, поэтому она включила ИВЛ и надела мне маску. В ней было очень неприятно говорить, но я сказала:

— Иди в парк, а я тебе позвоню, когда проснусь.

— Хорошо, — согласилась мама. — Отсыпайся, детка.

Когда я проснулась через несколько часов, она сидела в дряхлом кресле в углу и читала путеводитель.

— Доброе утро, — сказала я.

— Вообще-то уже конец дня, — произнесла мама, со вздохом вставая из кресла. Она подошла к кровати, положила баллон на тележку и подсоединила к трубке, пока я снимала маску ИВЛ и вставляла в нос трубки. Мама установила расход на 2,5 литра в минуту — шесть часов до замены, и я встала.

— Как самочувствие? — спросила она.

— Хорошо, — ответила я. — Отлично. А как Вондельпарк?

— Я не пошла, — призналась мама. — Я все о нем прочитала в путеводителе.

— Мам, — сказала я, — тебе не обязательно было со мной сидеть!

Она пожала плечами:

— Мне так захотелось. Я люблю смотреть, как ты спишь.

— Сказал Эдвард Каллен, — добавила я. Мама засмеялась, но мне все равно было неловко.  
— Я хочу, чтобы ты развлекалась, веселилась, понимаешь?

— Ладно. Сегодня вечером буду развлекаться. Побуду сумасшедшей мамашей, пока вы с Огастусом пойдете на ужин.

— Без тебя? — уточнила я.

— Да, без меня. Для вас заказан столик в каком-то «Оранже», — объяснила она. — Этим занималась помощница мистера ван Хутена. Ресторан в районе Джордаан — очень интересном, как пишут в путеводителе. Там за углом остановка трамваев. Огастус знает, как добраться. Вы сможете поесть за уличным столиком, глядя на проплывающие лодки. Это будет чудесно. Очень романтично.

— Мама!

— Теоретически, — спохватилась она и добавила: — Тебе надо одеться получше. Может, сарафан?

Кого-то позабавит ненормальность ситуации — мать отправляет собственную шестнадцатилетнюю дочь одну с семнадцатилетним парнем погулять по незнакомому городу, известному свободой нравов, но это тоже побочный эффект умирания. Я не могу бегать, танцевать, есть пищу, богатую азотом, но в городе свободы я была одной из самых раскрепощенных.

Я действительно надела сарафан — с голубым рисунком, легкий струящийся шедевр из «Форевер 21» длиной до колен, — а к нему колготки и балетки «Мэри Джейнс», потому что мне нравилось быть намного ниже Гаса. Я вошла в до смешного тесную ванную и воевала со свалявшимися после сна волосами, пока вид у меня не стал, как у Натали Портман образца 2000 года. Ровно в шесть вечера (дома был полдень) в наш номер постучали.

— Да? — спросила я не открывая. В гостинице «Философ» в дверях глазков не было.

— Ладно, — отозвался Огастус. Я так и слышала, что сигарета у него во рту. Я оглядела себя. Сарафан как мог льстил моей грудной клетке и ключицам, которые Огастус уже видел. Наряд не был неприличным, но честнее всех моих вещей сигнализировал о том, что я решила показать немного кожи (на этот счет у мамы есть девиз, с которым я согласна: «Ланкастеры пупки не выставляют»).

Я открыла дверь. Перед моим взором предстал Огастус, облаченный в идеально сидящий костюм с узкими лацканами, в голубой рубашке и узком черном галстуке. Из не улыбающегося угла рта свисала сигарета.

— Хейзел Грейс, — сказал он, — роскошно выглядишь!

— Я... — начала я в надежде, что остальное предложение родится, пока воздух будет проходить через голосовые связки, но ничего не пришло в голову. Наконец я заметила: — По-моему, я одета слишком скромно.

— Ох, уж эти старые женские уловки, — улыбнулся он мне сверху вниз.

— Огастус, — сказала мама из-за моей спины, — ты выглядишь божественно красиво!

— Благодарю вас, мэ, — поблагодарил Гас и галантно предложил мне руку. Я оперлась о нее и оглянулась на маму.

— Жду к одиннадцати, — напомнила она.

В ожидании трамвая номер один на оживленной улице, полной машин, я спросила:

— В костюмчике, наверное, на похороны ходишь?

— Ну что ты, — ответил он. — Мой костюм для чужих похорон с этим и рядом не висел.

Подъехал бело-синий трамвай. Огастус протянул наши карточки водителю, который объяснил, что ими нужно помахать перед круглым сенсором. Когда мы прошли в заполненный вагон, пожилой мужчина встал, уступая нам двойное место. Я попыталась отказаться, но он настойчиво показывал на сиденье. Мы ехали три остановки. Я прильнула к

Гасу, чтобы вместе смотреть в окно.

Огастус показал на деревья:

— Видишь?

Я видела. Вдоль каналов повсюду росли старые вязы, и ветер сдувал с них семена, похожие, клянусь, на розовые лепестки, лишенные красок. Бледные лепестки роз собирались на ветру в птичьи стаи — тысячи лепестков, будто летний снегопад.

Пожилой мужчина, уступивший нам место, увидел, куда мы смотрим, и сказал по-английски:

— Амстердамский весенний снег. Вяз бросает в воздух конфетти, приветствуя весну.

Вскоре мы пересели на другой трамвай и через четыре остановки оказались на улице, разделенной надвое прекрасным каналом. В воде рябило отражение старинного круглого моста и живописных разноцветных домов.

«Оранжей» оказался в нескольких шагах от остановки. Ресторан был с одной стороны дороги, уличные столики — с другой, на бетонной полоске у кромки канала. У официантки загорелись глаза, когда вошли мы с Огастусом.

— Мистер и миссис Уотерс? — спросила она.

— Вроде да, — ответила я.

— Ваш столик! — Она показала через улицу на узкий стол в нескольких дюймах от канала.  
— Шампанское за счет заведения.

Мы переглянулись, не сдержав улыбок. Когда мы перешли улицу, Огастус отставил для меня стул и помог пододвинуться к столу. На белой скатерти действительно стояли два узких



бокала шампанского. Свежесть воздуха замечательно уравнивалась солнцем. С одной стороны от нас проезжали велосипедисты — хорошо одетые мужчины и женщины, возвращающиеся домой с работы: нереально красивые блондинки ехали, сидя на раме боком, а педали крутили их дружки; дети в крошечных шлемах подсакивали на пластиковых сиденьях позади родителей. А с другой стороны вода в канале задышалась под мириадами семян-конфетти. Маленькие лодки, наполовину залитые дождевой водой, покачивались у выложенных камнем берегов; некоторые едва не тонули. Чуть дальше я видела плавучие дома, дрейфовавшие на понтонах, а посреди канала медленно двигалась открытая плоскодонная лодка с садовыми стульями и переносным стерео. Огастус поднял бокал шампанского. Я взяла свой, хотя в жизни не пила ничего крепче глотка пива из папиной кружки.

— Ладно, — сказала я, и мы чокнулись бокалами. Я отпила шампанского. Крошечные пузырьки растаяли во рту и отправились на север, в мозг. Сладко. Щипуче.

— Очень вкусно, — похвалила я. — Впервые пробую шампанское.

К нам подошел молодой гигант-официант с волнистыми светлыми волосами. Он был, пожалуй, даже повыше Огастуса.

— Знаете, — спросил он с приятным акцентом, — что сказал Дом Периньон, когда изобрел шампанское?

— Нет, а что? — заинтересовалась я.

— Он крикнул своим братьям-монахам: «Скорее идите сюда, я пробую вкус звезд!» Добро пожаловать в Амстердам. Желаете ознакомиться с меню или воспользуетесь рекомендацией шеф-повара?

Я посмотрела на Огастуса, а он на меня.

— Рекомендации шеф-повара — это замечательно, но Хейзел вегетарианка.

Я сказала Огастусу об этом один раз, в первый день нашего знакомства.

— Не проблема, — заверил официант.

— Прекрасно. Можно нам еще шампанского? — спросил Гас.

— Конечно, — ответил официант. — Сегодня вечером мы разлили по бутылкам все звезды, мои юные друзья. Хо, конфетти! — сказал он и легонько смахнул семечку вяза с моего голого плеча. — Такого много лет не было. Повсюду семена. Очень раздражает.

Официант ушел. Мы смотрели, как с неба падают конфетти, кружатся по земле с ветром и сыплются в канал.

— Трудно поверить, что это может кого-то раздражать, — заметил Огастус через минуту.

— Люди всегда привыкают к красоте.

— Я к тебе еще не привык, — ответил он, улыбнувшись. Я почувствовала, что краснею. — Спасибо, что приехала в Амстердам.

— Спасибо, что позволил украсть твой ваучер на Заветное Желание, — поблагодарила я.

— Спасибо, что надела это платье, которое просто вау — откликнулся он. Я покачала головой, стараясь сдержать улыбку. Я не хотела быть живой гранатой. Но с другой стороны, он же знает, что делает, правильно? Это его выбор. — Слушай, а чем заканчивается поэма?

— А?

— Которую ты читала мне в самолете?

— А-а, Пруфрок?[10] Там заканчивается так: «Мы задержались в палатах моря, морские девы венки свивали / из трав коричневых и алых, / но разбудили нас голоса человечьи, / и мы утонули».

Огастус вытянул из пачки сигарету и постучал фильтром о стол.

— Дурацкие человечьи голоса вечно все портят.

Официант принес еще два бокала шампанского и то, что он назвал «бельгийской белой спаржей с вытяжкой из лаванды».

— Я еще никогда не пил шампанского, — сказал Гас, когда официант ушел. — Если вдруг тебе интересно. И никогда не пробовал белой спаржи.

Я уже жевала первый кусок.

— Очень вкусно, — завершила я.

Он откусил кусочек и проглотил.

— Боже, если аспарагус такой вкусный, я тоже вегетарианец!

К нам подплыла лакированная деревянная лодка. Сидевшая в ней женщина с вьющимися светлыми волосами лет, наверное, тридцати, отпила пива, подняла свой бокал в нашу честь и что-то крикнула.

— Мы не говорим по-голландски, — крикнул в ответ Гас.

Кто-то из остальных пассажиров выкрикнул перевод:

— Красивая пара — это красиво!

Еда была такой вкусной, что с каждой переменной наш разговор все дальше уходил от темы, превратившись в отрывочные поздравления с праздником вкуса:

— Я хочу, чтобы это ризотто с фиолетовой морковью стало человеком: я отвез бы его в Вегас и женился!

— Шербет из сладкого гороха, ты так неожиданно прекрасен...

Я искренне жалела, что быстро наедалась.

После клецок с чесноком и листьями красной горчицы официант сказал:

— Теперь десерт. Желаете перед десертом еще звезд? Я покачала головой. Двух бокалов мне хватило.

Шампанское не стало исключением в моей высокой толерантности к депрессантам и обезболивающим: я чувств вovala тепло, но не опьянение. Но я и не хотела напиваться. Такие вечера, как этот, бывают редко, и я хотела его запомнить.

— М-м-м-м-м, — протянула я, когда официант ушел. Огастус улыбнулся уголком рта, глядя на канал в одну сторону, а я рассматривала его в другую. Смотреть было на что, поэтому молчание не казалось неловким, но мне хотелось, чтобы все было идеально. Все и так шло как нельзя лучше, но мне казалось, что этот Амстердам взят из моего воображения. Я не могла отделаться от мысли, что ужин, как и вся поездка, не более чем раковый бонус. Я хотела, чтобы мы сидели и болтали, непринужденно шутя, будто дома на диване, но в глубине души царило напряжение.

— Этот костюм у меня не для печальных okazji, — напомнил Огастус спустя некоторое

время. — Когда я узнал, что болен, — ну, когда мне сказали, что у меня восемьдесят пять шансов из ста... Шансы, конечно, высокие, но мне все казалось, что это русская рулетка. Меня ожидали полгода или год ада, предстояло потерять ногу, и в результате все это могло еще и не помочь?!

— Знаю, — поддержала я, хотя на самом деле не знала. Я сразу попала в терминальную стадию; мое лечение заключалось в продлении жизни, а не излечении рака. Фаланксифор внес в мою историю болезни долю неоднозначности, но моя личная история отличалась от Гасовой: мой эпилог был написан одновременно с диагнозом. Огастус, как большинство перенесших рак, жил с неопределенностью.

— Да, — сказал он. — Меня обуяло острое желание подготовиться. Мы купили участок на Краун-Хилл — я целый день ходил с отцом и выбирал место. Я распланировал свои похороны до мелочей, а перед самой операцией попросил у родителей разрешения купить дорогой хороший костюм — вдруг мне все-таки кранты. Но мне так и не представилось случая его надеть... До сегодняшнего вечера.

— Стало быть, это твой смертный костюм.

— Да. У тебя разве не приготовлено платья на этот случай?

— А как же, — сказала я. — Покупала с расчетом надеть на пятнадцатилетие. Но на свидания я в нем не хожу.

У него загорелись глаза.

— Так у нас свидание?

Я опустила глаза, вдруг смутившись.

— Не торопи события.

Мы наелись до отвала, но десерт, вкуснейший густой крем, обложенный ломтиками маракуйи, был слишком хорош, чтобы не попробовать, и мы сидели над тарелочками, стараясь снова проголодаться. Солнце напоминало шалуна, отказывающегося укладываться спать: в полдевятого было еще светло.

Огастус вдруг ни с того ни с сего спросил:

— Ты веришь в жизнь после жизни?

— Я считаю вечность некорректной концепцией, — ответила я.

— Ты сама некорректная концепция, — самодовольно заметил он.

— Знаю. Поэтому меня и изъяли из круговорота жизни.

— Не смешно, — заявил Гас, глядя на улицу. На велосипеде проехали две девушки, одна сидела боком над задним колесом.

— Да брось ты, — отмахнулась я. — Я пошутила.

— Мысль о том, что тебя изъяли из круговорота жизни, меня не веселит, — сказал он. — Вот ответь мне серьезно: жизнь после жизни?

— Не верю, — ответила я, но тут же поправилась: — Хотя решительного «нет» не скажу. А ты?

— А я верю, — сказал он уверенно. — Целиком и полностью. Не в рай, где можно ездить на единорогах, играть на арфах и жить на облаке, но в Нечто с большой буквы «н». И всегда верил.

— Правда? — удивилась я. Вера в рай у меня всегда ассоциировалась с некой умственной незадействованностью, а Гас дураком не был.

— Да, — произнес он тихо. — Я верю в строку из «Царского недуга»: «Восходящее солнце слишком ярко для ее угасающих глаз». Под восходящим солнцем я понимаю Бога, чей свет невыносимо ярок, а глаза Анны угасают, а не мертвоют. Я не верю, что мы возвращаемся, чтобы преследовать или утешать живых, но думаю, что с нами обязательно что-то происходит дальше.

— Но ты боишься забвения.

— Конечно. Я боюсь земного забвения. Не подумай, что я копирую своих родителей, но я верю, что у людей есть души, и верю в сохранение душ. Страх забвения — это нечто иное, это опасение, что я не смогу дать ничего в обмен на свою жизнь. Если не довелось прожить в служении высшему добру, можно по крайней мере послужить ему смертью, понимаешь? А я боюсь, что не смогу ни прожить, ни умереть ради чего-то важного.

Я только головой покачала.

— Что? — спросил он.

— Ты просто одержим идеей геройски за что-нибудь помереть и оставить доказательства своего героизма. Это даже как-то странно.

— Каждый хочет прожить необыкновенную жизнь!

— Не каждый, — сказала я, не в силах скрыть раздражение.

— Ты рассердилась?

— Просто... — начала я и не смогла договорить. — Просто... — снова сказала я. На столе мигал огонек свечи. — С твоей стороны просто гадко говорить, что важны только те жизни, которые прожиты и отданы ради великой цели. Низко говорить такое мне.

Чувствуя себя маленькой девочкой, я сунула в рот полную ложку крема, чтобы показать, что мне все равно и вообще...

— Прости, — извинился он. — Я не это имел в виду. Я говорил только о себе.

— И говорил, и думал! — Я была слишком напичкана едой и не решилась продолжить фразу. Я испугалась, что меня вырвет — меня часто рвет после еды (не булимия, всего лишь рак). Я пододвинула тарелку с десертом Гасу, но он покачал головой.

— Прости, — сказал он снова и потянулся через стол к моей руке, которой я позволила завладеть. — Я и хуже бываю.

— Например? — поддразнила я.

— Например, над моим унитазом каллиграфически выведено: «Омывайся денно в утешении слов Господних». Я, Хейзел, могу быть куда хуже.

— Звучит негигиенично, — заметила я.

— Я бываю фруктом и похуже.

— Бываешь, — улыбнулась я. Он меня действительно любит. Может, я нарциссистка, но с того момента в «Оранже» Огастус начал мне нравиться еще больше.

Забирая тарелки с десертом, официант сказал:

— Ваш ужин оплачен господином Питером ван Хутеном.



Огастус улыбнулся:

— А этот Питер ван Хутен отличный парняга.

Уже стемнело, когда мы шли вдоль канала. Через квартал от «Оранжи» мы остановились у скамьи, окруженной старыми ржавыми велосипедами, прицепленными к велосипедным стойкам и друг к другу, сели рядышком лицом к каналу, и Гас обнял меня за плечи.

Над кварталом красных фонарей мерцал световой ореол. Хотя фонарям в квартале полагалось быть красными, источаемое ими сияние было жутковато-зеленого оттенка. Я представила, как тысячи туристов там напиваются, обкуриваются и шатаются по узким улочкам.

— Поверить не могу, что завтра мы с ним встретимся, — сказала я. — Питер ван Хутен поведает нам ненаписанный эпилог лучшей в мире книги.

— Да еще и заплатил за наш ужин, — вернул Огастус.

— Наверное, сперва он примется нас обыскивать на предмет подслушивающих или записывающих устройств, а потом сядет между нами на диване в гостиной и шепотом расскажет, вышла ли мама Анны замуж за Тюльпанового Голландца.

— Не забудь хомяка Сисифуса, — добавил Огастус.

— И какая судьба ожидает хомяка, — согласилась я, подавшись вперед и заглянув в канал. Поверхность воды почти целиком покрывали бесчисленные бледные лепестки вязов. — Сиквел, который будет существовать только для нас, — сказала я.

— А как у них сложится, что ты думаешь? — спросил Огастус.

— Не знаю, ей-богу. Тысячу раз об этом думала. Всякий раз, перечитывая, представляю что-то другое, понимаешь? — Он кивнул. — А у тебя есть теория?

— Да. Я не думаю, что Тюльпановый Голландец окажется мошенником, но он наверняка не так богат, как убеждает Анну с матерью. Мне кажется, после смерти Анны ее мать уедет с ним в Нидерланды в надежде счастливо прожить с Голландцем свои дни, но ничего не получится — ее будет тянуть туда, где лежит дочь.

Я не догадывалась, что он так много думал об этой книге и что «Царский недуг» многое для него значит независимо от того, что я тоже многое значу для Гаса.

Внизу, у каменных стен канала, тихо плескалась вода; мимо кучей-малой проехала компания, быстро-быстро переключаясь на резком, гортанном голландском; полузатопленные крошечные лодки, в длину не больше моего роста; запах застоявшейся воды, рука Гаса, обнимающая меня; его настоящая нога, касавшаяся моей настоящей ноги от бедра до стопы... Я прижалась к Гасу чуть сильнее. Он вздрогнул.

— Прости. Больно?

Он болезненно выдохнул «нет».

— Прости, — сказала я. — Костлявое плечо.

— Все нормально, — произнес он. — Даже приятно.

Мы сидели долго. В конце концов его рука покинула мое плечо и улеглась на спинку скамейки. Мы смотрели в канал. Я думала о том, как голландцы ухитряются сохранять свой город, хотя этой территории полагается быть под водой, и что для доктора Марии я своего рода Амстердам, полузатонувшая аномалия. От этого я плавно перешла к мыслям о смерти.

— Можно спросить тебя о Каролин Мэгерс?

— А еще говоришь, что не веришь в жизнь после жизни, — отозвался Гас, не глядя на меня.

— Да, можно, конечно. Что ты хочешь узнать?

Я хотела знать, как Гас выдержит, если я умру. Я не хотела быть бомбой, не желала быть злой силой в жизни любимых мною людей.

— Ну, просто, как все было.

Гас испустил такой длинный выдох, что моим дрянным легким это показалось хвостовством, и вставил в рот новую сигарету.

— Знаешь загадку — на какой игровой площадке не играют? На больничной. — Я кивнула.

— Я лежал в «Мемориал» недели две, когда мне отняли ногу и начали химию. Лежал я на пятом этаже с видом на игровую площадку, которая всегда была пустой. Я купался в метафорическом резонансе пустой игровой площадки на больничном дворе. Но затем туда стала выходить девушка. Каждый день она качалась на качелях одна, как в кино. Я попросил одну из самых отзывчивых медсестер разузнать о ней побольше, а она привела девушку знакомиться. Это оказалась Каролин, и я пустил в ход всю мою неумную харизму, чтобы ее очаровать. — Гас замолчал, и я решила что-нибудь сказать.

— Вовсе ты не так уж харизматичен, — заявила я. Он недоверчиво фыркнул. — Ты просто красив, вот и все, — пояснила я.

Он скрыл смущение смехом.

— Штука с мертвецами в том... — начал он, но остановился. — Штука в том, что ты кажешься подлецом, если не романтизируешь мертвых, но правда сложная вещь. Ну, ты же знаешь троп стоической, несгибаемой жертвы рака, которая героически борется с болезнью, противится ей с нечеловеческой силой, никогда не жалуется и не перестает улыбаться даже на смертном одре?

— О да, — подхватила я. — Добросердечные и великодушные, каждое их дыхание вдох-но-вля-ет всех нас! Какие сильные люди, как мы ими восхищаемся!

— Да, но в действительности — нас с тобой я не имею в виду — статистически больные раком дети не более здоровых прекрасны, сострадательны или упорны. Каролин вечно ходила мрачная и несчастная, но мне это нравилось. Мне нравилось сознавать, что из всех людей на свете она выбрала меня как наименее ненавистного. Мы проводили время, цепляясь к каждому. Доводили медсестер, других детей, наших родителей, критиковали всех подряд. Не знаю, кто виноват — она или ее опухоль. Одна из медсестер сказала мне однажды, что заболевание Каролин на медицинском жаргоне называется «сволочной опухолью», потому что превращает человека в чудовище. Так вот девушка, у которой удалили пятую часть мозга и только что обнаружили рецидив «сволочной опухоли», отнюдь не была образцом стоического детско-онкологического героизма. Она была... Честно признаться, она была стервой. Но так говорить нельзя, потому что, во-первых, у Каролин была специфическая опухоль, а во-вторых, она умерла. У нее была масса причин быть неприятной, понимаешь?

Я понимала.

— Знаешь, в той части «Царского недуга», когда Анна идет через футбольное поле на физкультуру, что ли, и с размаху падает в траву, и понимает, что рак вернулся, что метастазы уже в нервной системе, и не может подняться, и ее лицо на дюйм от травы на футбольном поле, и она застывает, глядя на травинки вблизи, замечая, как освещает их солнце... Я не помню строчку дальше, но там что-то о том, как на Анну нисходит озарение в стиле Уитмана: человеческую суть можно определить как возможность дивиться величию творения. Знаешь эту часть?

— Очень хорошо знаю, — сказала я.

— И потом, когда мне все нутро выжгли химиотерапией, отчего-то я решил по-настоящему надеяться — не конкретно на выживание; меня, как Анну, охватили глубокое волнение и чувство благодарности за простую возможность восхищаться всем, что нас окружает. Но Каролин с каждым днем становилось хуже. Вскоре ее отпустили домой, и были минуты, когда мне казалось, что у нас могут быть настоящие, ну, отношения, но в действительности этого быть не могло, потому что у нее отсутствовал фильтр между мыслями и языком, что было печально, неприятно и нередко обидно. Но нельзя же бросать девушку с опухолью мозга! И ее родителям я понравился, и младший брат Каролин оказался замечательным сорванцом, как же можно было ее бросить? Ведь она умирала! Тянулось все это целую

вечность. Почти год я встречался с девушкой, которая ни с того ни с сего начинала смеяться, указывала на мой протез и звала меня Культяпкой.

— Господи, нет, — сказала я.

— Да! Это, конечно, все опухоль, сожравшая ее мозг. Или не опухоль, черт ее разберет. У меня не было способа выяснить, они же были неразделимы, Каролин и опухоль. Болезнь брала свое, и Каролин взяла в привычку повторять одни и те же истории и смеяться над собственными комментариями, и так по сто раз на дню. Она неделями повторяла шутку: «Ноги у Гаса классные, только одной не хватает», после чего начинала хохотать, как маньяк.

— О, Гас... — пролепетала я. — Это... — Я не знала, что сказать. На меня он не смотрел, и мне казалось нескромным смотреть на него. Я чувствовала, что он смотрит вперед. Он вынул сигарету изо рта, посмотрел на нее, покатал большим и указательным пальцами и снова сунул в рот.

— Надо отдать должное, — заметил он, — у меня действительно классная нога.

— Мне очень жаль, — сказала я. — Мне правда очень, очень жаль.

— Все нормально, Хейзел Грейс. Но если договаривать до конца, когда мне показалось, что в группу поддержки явился призрак Каролин Мэтерс, я вовсе не обрадовался. Я смотрел, но желания не испытывал, если ты понимаешь, о чем я. — Он вынул из кармана сигаретную пачку и убрал сигарету обратно.

— Мне очень жаль, — снова извинилась я.

— Мне тоже, — произнес он.

— Я никогда так с тобой не поступлю, — пообещала я ему.

— А я бы не возражал, Хейзел Грейс. Большая честь ходить с сердцем, разбитым тобой.

## Глава 12

Я проснулась в четыре по голландскому времени, готовая к новому дню. Все попытки снова заснуть потерпели неудачу, поэтому я лежала, слушая, как ИВЛ нагнетает воздух и выгоняет его из легких, и радовалась драконьему урчанию, хотя с удовольствием слушала бы собственное дыхание.

Я перечитывала «Царский недуг» в ожидании, пока проснется мама. Около шести она повернулась ко мне и сонно положила голову мне на плечо, что было неудобно.

Завтрак, который нам принесли в номер, к моему удовольствию, включал, помимо полного отрицания стандартов американского завтрака, деликатесную мясную нарезку. Платье, которое я планировала надеть для встречи с Питером ван Хутеном, в процессе отбора получило повышение и было признано достойным ужина в «Оранже», поэтому когда я приняла душ и уладила волосы, мы с мамой полчаса обсуждали разнообразные плюсы и минусы наличных нарядов, прежде чем я решила одеться под Анну из «Царского недуга»: кеды «Чак Тейлорс», темные джинсы и голубая футболка.

На футболке был трафаретный принт знаменитого шедевра сюрреалиста Рене Магритта: он нарисовал трубу и подписал курсивом: «C'est n'est pas une pipe» («Это не труба»).

— Не понимаю я этой футболки, — сказала мама.

— Питер ван Хутен поймет, поверь. Он тысячу раз ссылается на Магритта в «Царском недуге».

— Но это же труба!

— Нет, не труба, — заметила я. — Это изображение трубы. Понимаешь? Любые изображения вещей имманентно абстрактны. Это очень тонко.

— Когда ты успела стать такой взрослой и понимать то, в чем путается твоя старая мать? — спросила мама. — Кажется, только вчера я говорила семилетней Хейзел, почему небо голубое. Тогда ты считала меня гением.

— А почему небо голубое? — спросила я.

— Потому что, — ответила мама. Я засмеялась.

Время подходило к десяти часам, и я нервничала все больше и больше. Я волновалась перед встречей с Огастусом, волновалась перед встречей с Питером ван Хутеном, волновалась, что неудачно одета, волновалась, что мы не найдем нужный дом, потому что дома в Амстердаме похожи друг на друга, как близнецы, волновалась, что мы заблудимся и не сможем отыскать «Философа», волновалась, волновалась и волновалась. Мама пыталась со мной заговаривать, но я не слушала. Я уже хотела просить ее подняться на второй этаж и проверить, как там Огастус, когда он постучал в дверь.

Я открыла. Он посмотрел на футболку и улыбнулся.

— Забавно, — сказал он.

— Не называй мои груди забавными, — ответила я.

— Ну не здесь же, — произнесла мама за моей спиной, но я уже достаточно смутила Огастуса, чтобы смелее смотреть в его синие глаза.

— Точно не хочешь пойти? — спросила я маму.

— Я иду в Рийксмузеум и Вондельпарк, — пояснила она. — К тому же я не понимаю эту книгу. Не обижайся. Благодарю за нас его и ассистентку, ладно?

— Ладно, — ответила я, стиснув маму в объятиях. Она поцеловала меня в голову, над самым ухом.

Белый дом Питера ван Хутена находился буквально за углом, в сплошном ряду домов на Вондельстраат, напротив парка. Номер сто пятьдесят восемь. Огастус взял меня за руку, подхватил тележку с баллоном, и мы поднялись на три ступеньки к полированной черно-синей двери. Сердце у меня гулко стучало. Всего одна закрытая дверь отделяет меня от ответов, о которых я размышляла с тех самых пор, как впервые прочитала последнюю незаконченную страницу.

Изнутри слышался мощный басовый ритм, от которого, должно быть, дрожали подоконники. Я удивилась: неужели у Питера ван Хутена есть ребенок, который любит рэп?

Взявшись за дверное кольцо в виде львиной головы, я нерешительно постучала. Музыка гремела по-прежнему.

— Может, он не слышит? — сказал Огастус, взялся за кольцо и постучал громче.

Музыка стихла, послышались шаркающие шаги. Отодвинулся засов, за ним другой, и дверь со скрипом открылась. Пузатый мужчина с жидкими волосами и отвисшими щеками, покрытыми недельной щетиной, прищурился от яркого уличного света. Он был в голубой мужской пижаме, как в старых фильмах. Лицо и брюшко были такими круглыми, а руки такими тощими, что он казался пончиком, в который воткнули четыре спички.

— Мистер ван Хутен? — спросил Огастус неожиданно высоким голосом.



Дверь с грохотом закрылась. За ней раздался заикающийся, пискливый вопль: «Ли-и-и-и-де-е-е-вью-ю!» (до этого я думала, что имя его ассистентки произносится «Лидевидж»).

Все было прекрасно слышно через дверь.

— К нам пришли, Питер? — спросила женщина.

— Там, Лидевью, там на пороге два юных видения!

— Видения? — переспросила она с приятным голландским акцентом.

Ван Хутен прокричал на одном дыхании:

— Фантомы-призраки-иллюзия-духи-упыри-пришельцы с того света, Лидевью! Как при наличии университетского диплома по специальности американская литература можно демонстрировать такое отвратительное знание английского языка?

— Питер, это не видения, это Огастус и Хейзел, ваши юные поклонники, с которыми вы переписывались.

— Как?! Что?! Они... Я же думал, они в Америке!

— Да, но вы пригласили их в Амстердам, помните?

— Лидевью, ты знаешь, почему я уехал из Штатов? Чтобы никогда больше не встречаться с американцами!

— Но вы и сами американец.

— Да, похоже, что от этого никуда не деться, но этим американцам велите немедленно уйти. Объясните, что произошла ужасная ошибка, что приглашение преславного ван Хутена было риторическим и подобные предложения полагается воспринимать символически...

Мне показалось, что меня сейчас вырвет. Я посмотрела на Огастуса, не сводившего взгляд с двери: его плечи поникли.

— Я этого не сделаю, Питер, — ответила Лидевью. — Вы должны с ними встретиться. Вы обязаны. Вам нужно их увидеть. Вам нужно посмотреть, как много значит ваша работа.

— Лидевью, ты сознательно обманула меня, чтобы это подстроить?

Последовало долгое молчание, и наконец дверь снова открылась. Ван Хутен, по-прежнему щурясь, с равномерностью метронома крутил головой от меня к Огастусу.

— Кто из вас Огастус Уотерс? — спросил он. Огастус нерешительно протянул руку.

Ван Хутен кивнул и сказал:

— Вы закончили свои дела с этой цыпочкой?

Так я в первый и единственный раз увидела онемевшего Огастуса Уотерса.

— Я... — начала я, — кхм, я Хейзел. Вот.

— Видимо, у юноши задержка развития, — объяснил Питер ван Хутен своей Лидевью.

— Питер! — возмутилась та.

— Н-ну что ж, — сказал Питер ван Хутен, протягивая мне руку, — так или иначе встретить таких онтологически невозможных созданий — редкое удовольствие.

Я потрясла его пухлую руку, после чего он обменялся рукопожатием с Огастусом. Я между тем гадала, что такое «онтологически», — мне понравилось слово. Надо же, нас с Огастусом зачислили в Клуб невозможных созданий на пару с утконосами!

Конечно, я надеялась, что Питер ван Хутен окажется человеком здравого ума, но мир не фабрика по исполнению желаний. Важно, что дверь нам открыли, я перешагнула порог и сейчас узнаю, что произойдет после окончания «Царского недуга». Этого мне хватит. Мы прошли за ван Хутеном и Лидевью мимо огромного дубового обеденного стола с двумя одинокими стульями в неприятно голую гостиную. Вылитый зал музея, только на пустых белых стенах ни одной картины. За исключением дивана и шезлонга, замысловатых конструкций из стали и черной кожи, комната оказалась пустой. Через секунду я заметила за диваном два больших черных мусорных мешка, полных и завязанных.

— Мусор? — тихо спросила я у Огастуса, думая, что никто больше не услышит.

— Почта от поклонников, — отозвался ван Хутен, усаживаясь в шезлонг. — За восемнадцать лет. Не открываю. Не могу. Ужасно боюсь. Ваши письма стали первыми, на которые я ответил, и видите, к чему это привело? Ей-богу, существование читателей во плоти я считаю совершенно неинтересным.

Вот и объяснение, отчего он ни разу не ответил на мои письма. Он их не читал. Я не поняла, для чего он вообще их хранит, да еще в совершенно пустой гостиной. Ван Хутен забросил ноги на оттоманку и скрестил шлепанцы, указав нам на диван. Мы с Огастусом сели рядом друг с дружкой, но не вплотную.

— Не хотите ли позавтракать? — спросила Лидевью.

Я начала говорить, что мы уже поели, когда ван Хутен перебил:

— Для завтрака еще слишком рано, Лидевью.

— Но они из Америки, Питер, для их организмов сейчас первый час.

— Тогда для завтрака уже слишком поздно, — сказал он. — Однако, раз уж в организме первый час и все такое, надо выпить по коктейлю. Ты скотч пьешь? — спросил он у меня.

— Пью ли я... Нет-нет, спасибо, не надо, — ответила я.

— А Огастус Уотерс? — спросил ван Хутен, кивнув на Гаса.

— Благодарю, я воздержусь.

— Тогда один бокал, Лидевью. Скотч с водой сделай. — И Питер обратился к Гасу: — Знаешь, как в этом доме делают скотч с водой?

— Нет, сэр, — ответил Гас.

— Мы наливаем скотч в бокал, призываем мысль о воде и смешиваем реальный скотч с абстрактной идеей воды.

— Может быть, сперва что-нибудь покушаете, Питер? — предложила Лидевью.

Он посмотрел на нас и прошептал драматическим шепотом:

— Она считает, у меня проблема с алкоголем.

— А еще я считаю, что солнце взошло, — отозвалась Лидевью, но все же подошла к бару, достала бутылку скотча, налила полбокала и принесла боссу. Отпив глоток, Питер ван Хутен выпрямился на своем шезлонге.

— Такой хороший скотч заслуживает, чтобы его пили в красивой позе.

Я сразу подумала о собственной позе и незаметно выпрямилась. Поправила канюлю. Папа всегда говорил, что о людях можно судить по тому, как они обращаются с секретарями и официантами. По этой мерке Питер ван Хутен был законченным уродом.

— Стало быть, вам нравится моя книга, — сказал он Огастусу после второго глотка.

— Да, — ответила я за Огастуса. — Мы, то есть Огастус, назвал встречу с вами своим Заветным Желанием, и мы смогли приехать, чтобы вы нам рассказали о дальнейшей судьбе героев «Царского недуга».

Ван Хутен ничего не сказал и отпил длинный глоток скотча.

Через минуту Огастус добавил:

— Ваша книга окончательно сблизила нас с Хейзел.

— Но вы же не близки, — заметил он, не глядя на меня.

— Это произведение почти окончательно сблизило нас, — сказала я.

Тогда он повернулся ко мне.

— Вы специально оделись, как она?

— Как Анна? — уточнила я.

Он молча смотрел на меня.

— Ну как бы да, — ответила я.

Он снова сделал длинный глоток и поморщился.

— Нет у меня проблемы со спиртным, — неожиданно громко объявил он. — Я отношусь к алкоголю, как Черчилль: могу отпускать шутки, править Англией, делать все, что душе угодно, но вот не пить не могу. — Он покосился на Лидевью и кивнул на свой бокал. Она взяла его и пошла к бару. — Только идея воды, Лидевью! — напомнил он.

— Да поняла я, — сказала она почти с американским акцентом.

Когда она принесла второй бокал, спина ван Хутена снова напряглась из уважения. Он сбросил шлепанцы. Ступни у него были на редкость уродливые. У меня на глазах Питер ван Хутен разрушал весь свой образ гениального автора, но у него были ответы.

— Кгхм, — откашлялась я. — Прежде всего разрешите вас поблагодарить за вчерашний ужин и...

— Мы оплатили им ужин? — спросил ван Хутен у Лидевью.

— Да, в «Оранже».

— А, ну да. Благодарите не меня, а Лидевью: она наделена редкостным талантом тратить мои деньги.

— Мы очень рады, что вам понравилось, — сказала мне Лидевью.

— В любом случае спасибо, — произнес Огастус с едва уловимой ноткой раздражения в голосе.

— Ну, вот он я, — раздался голос ван Хутена через минуту. — Какие у вас вопросы?

— Э-э... — протянул Огастус.

— А по письму казался таким умным, — заметил ван Хутен Лидевью, имея в виду Огастуса.  
— Видимо, рак уже завоевал в его мозгу обширный плацдарм.

— Питер! — прикрикнула Лидевью.

Я тоже была шокирована, но одновременно меня странным образом успокаивало, что настолько неприятный человек не выказывает нам уважения.

— У нас действительно есть несколько вопросов, — произнесла я. — Я писала о них в моем и-мейле, не знаю, помните ли вы...

— Не помню.

— У него проблемы с памятью, — извиняющимся тоном сказала Лидевью.

— Ах, я был бы только рад, если б моя память ухудшилась, — огрызнулся ван Хутен.

— Итак, наши вопросы, — напомнила я.

— «Наши»! Надо же, королева какая, — сказал Питер, ни к кому в особенности не обращаясь, и снова отпил скотча. Я не знаю, каков скотч на вкус, но если он хоть немного напоминает шампанское, я даже представить не могу, как можно пить так много, так быстро и так рано с утра. — Тебе знаком парадокс черепахи Зенона?

— Мы хотели бы знать, что случится с персонажами после окончания книги, особенно с Анниной...

— Зря ты думаешь, что мне нужно выслушивать твой вопрос до конца, чтобы ответить. Ты знаешь философа Зенона? — Я неопределенно покачала головой. — Увы. Зенон жил до Сократа и, как считается, открыл сорок парадоксов в картине мира, предложенной Парменидом. Уж Парменида-то ты, конечно, знаешь? — спросил ван Хутен. Я кивнула: дескать, прекрасно знаю вашего Парменида — хотя понятия не имела, о ком идет речь. — Ну слава Богу, — сказал ван Хутен. — Зенон профессионально специализировался в поиске неточностей и избыточного упрощения у Парменида, что было несложно, потому что Парменид был демонстративно не прав везде и всегда. Парменид незаменим, как приятель, который на скачках всегда ставит не на ту лошадь. Но самый важный парадокс Зенона... Погодите, обрисуйте мне степень своего знакомства со шведским хип-хопом!

Я не поняла, шутит Питер ван Хутен или нет. Через секунду за нас ответил Огастус:

— Очень небольшая.

— Но вы, наверное, слышали оригинальный альбом «Ничегонеделанье» Афази и Филфи?

— Не слышали, — сказала я за нас обоих.

— Лидевью, поставь сейчас же «Бомфаллерала»!

Лидевью подошла к МПЗ-плейеру, повернула немного колесико и нажала кнопку. Отовсюду зазвучал рэп. Мне он показался совершенно обычным, только слова были шведские.

Когда песня закончилась, Питер ван Хутен выжидательно уставился на нас, до отказа вытаращив маленькие глазки.

— Да? — спросил он. — Да?

— Простите, сэр, но мы не знаем шведского, — пояснила я.

— Какая разница! Я тоже не знаю. Кому этот шведский, на фиг, нужен? Важность в том, не



какую чушь лепечет голос, а какие чувства этот голос вызывает. Вы, разумеется, знаете, что существуют всего два чувства — любовь и страх, и эти Афази и Филфи лавируют между ними с легкостью, которой просто не найти в хип-хопе за пределами Швеции. Хотите еще раз послушать?

— Вы что, шутите? — не выдержал Гас.

— Простите?

— Это какой-то розыгрыш? — Гас посмотрел на Лидевью. — Да?

— Боюсь, что нет, — ответила Лидевью. — Он не всегда... Это довольно необычно...

— Заткнись ты, Лидевью! Рудольф Отто говорил, если вы не сталкивались со сверхъестественным, не пережили иррациональную встречу с ужасной тайной, тогда его сочинение не для вас. А я заявляю вам, юные друзья, что если вы не способны услышать натужно храбрый ответ страху в песне Афази и Филфи, тогда мой роман не для вас.

Я даже не могу выразить, насколько обычной была эта рэп-композиция, только на шведском.

— Так вот, — снова вернулась к теме я. — О «Царском недуге». Мать Анны в момент окончания книги собирается...

Ван Хутен перебил меня, одновременно барабанил по бокалу, пока Лидевью не наполнила его снова:

— Так вот, Зенон знаменит в основном своим парадоксом о черепахе. Представим, что вы соревнуетесь с черепахой. У черепахи на старте фора в десять ярдов. За время, которое вы потратите, чтобы пробежать эти десять ярдов, черепаха проползет, может, один ярд. Пока вы бежите этот ярд, черепаха уходит еще немного дальше, и так до бесконечности. Вы быстрее черепахи, но вам никогда ее не догнать, вы можете только сократить разрыв. Конечно, можно просто бежать за черепахой, не задумываясь, какие при этом действуют механизмы, но вопрос, как вы будете это делать, оказался невероятно сложным, и никто не мог решить

проблему, пока Кантор не доказал, что некоторые бесконечности больше других бесконечностей.

— Гхм, — произнесла я.

— Я полагаю, это ответ на твой вопрос, — уверенно заявил он и щедро отхлебнул из бокала.

— Не совсем, — сказала я. — Нас интересовало, что произойдет после окончания «Царского недуга»...

— Я отрекаюсь от этого омерзительного сочинения, — оборвал меня ван Хутен.

— Нет, — возразила я.

— Простите?

— Это неприемлемо, — пояснила я. — Ясно, что повествование обрывается на полуфразе, потому что Анна умирает или слишком больна, чтобы продолжать рассказ, но вы написали, что расскажете о судьбе каждого героя, за этим мы и приехали. Нам, мне нужно, чтобы вы об этом рассказали.

Ван Хутен вздохнул. После нового бокала он сказал:

— Очень хорошо. Чья история вас интересует?

— Матери Анны, Тюльпанового Голландца, хомяка Сисифуса. Просто скажите, что случилось с каждым из них?

Ван Хутен закрыл глаза и надул щеки, выдыхая воздух, затем поднял глаза на неоштукатуренные деревянные балки, перекрещенные под потолком.

— Хомяк, — произнес он спустя некоторое время. — Хомяка возьмет себе Кристина, одна из подружек Анны до болезни. — Мне это показалось разумным: Кристина и Анна играли с Сисифусом в нескольких эпизодах. — Кристина возьмет его к себе, он проживет еще пару лет и мирно почует в своем хомячьем сне.

Ну вот наконец-то что-то стоящее.

— Отлично, — сказала я. — Отлично. Так, а теперь Тюльпановый Голландец. Он мошенник или нет? Поженятся они с мамой Анны?

Ван Хутен по-прежнему разглядывал потолочные балки. Он отпил скотча. Бокал уже снова почти опустел.

— Лидевью, я так не могу. Не могу. Не могу! — Он медленно опустил взгляд и посмотрел мне в глаза: — Ничего с Голландцем не случится. Он ни мошенник, ни порядочный; он Бог, явная и недвусмысленная метафорическая репрезентация Бога, и спрашивать, что с ним случилось, — интеллектуальный эквивалент вопроса, что случилось с глазами доктора Эклбурга в «Гэтсби».[11] Поженятся ли он и мама Анны? Мы говорим о романе, дорогое дитя, а не о каком-то историческом событии.

— Да, но вы же наверняка представляли, что с ними будет, пусть даже как с персонажами, независимо от их метафорического значения?

— Они придуманные, — ответил он, снова барабанил по бокалу. — С ними ничего не случится.

— Вы обещали сказать, — настаивала я, решив проявить упорство. Я видела, что нужно удерживать его рассеянное внимание на моих вопросах.

— Возможно, но я пребывал под ложным впечатлением, что ты не осилишь трансатлантический перелет. Я хотел дать тебе какое-то утешение, что ли. Зря я так поступил, надо было дважды подумать. Но если быть идеально честным, ребяческая идея, что автор романа обладает особой проницательностью в отношении героев своей книги,

просто нелепа. Роман состоит из строчек, дорогая. Населяющие его персонажи не имеют жизни за пределами этих каракуль. Что с ними случилось? Они перестали существовать в ту минуту, когда книга закончилась.

— Нет, — запротестовала я, вставая с дивана. — Это все понятно, но как же можно не задуматься, что с ними будет потом? У вас больше всего прав придумать им будущее. Что станет с матерью Анны? Она либо выйдет замуж, либо нет, переедет в Нидерланды с Тюльпановым Голландцем либо не переедет, у нее либо будут еще дети, либо нет. Я хочу знать, как сложится ее жизнь.

Ван Хутен поджал губы.

— Обидно, что я не могу снисходительно отнестись к твоим ребяческим капризам, но я отказываю тебе в жалости, к которой ты привыкла.

— Я не нуждаюсь в вашей жалости, — сказала я.

— Как все больные дети, — бесстрастно заявил он, — ты говоришь, что не нуждаешься в жалости, тогда как от нее зависит само твое существование!

— Питер! — перебила Лидевью, но он продолжал, откинувшись на спинку шезлонга, уже не очень внятно выговаривая слова заплетающимся языком:

— Развитие больных детей неминуемо останавливается. Твоя судьба — прожить свои дни ребенком, каким ты была, когда тебе поставили диагноз, ребенком, который верит в жизнь после окончания книги. Мы, взрослые, относимся к этому с жалостью, поэтому платим за твое лечение, за кислородные баллоны, кормим тебя и поим, хотя вряд ли ты проживешь достаточно долго...

— Питер!!! — крикнула Лидевью.

— Ты — побочный эффект процесса эволюции, — продолжал ван Хутен, — которому мало дела до отдельных жизней. Ты неудачный эксперимент мутации...

— Я увольняюсь! — заорала Лидевью.

В ее глазах стояли слезы, но я была совершенно спокойна. Ван Хутен искал самый обидный способ сказать правду, которую я давно знала. Я несколько лет глядела в потолки комнат — от своей спальни до палаты интенсивной терапии — и уже много месяцев назад нашла самые болезненные способы описать свое состояние. Я сделала пару шагов и остановилась перед ним.

— Слушай, мажор, — сказала я. — Мне о раке ты не откроешь ничего нового. Мне от тебя нужно одно-единственное, после чего я навсегда уйду из твоей жизни: что случится с матерью Анны?!

Он поднял свои многочисленные дряблые подбородки и пожал плечами.

— О ней я могу рассказать тебе о не больше, чем, скажем, о прустовском Рассказчике, о сестре Холдена Колфилда[12] или о Гекльберри Финне после того, как он удрал на индейскую территорию.

— Вранье! Чуть собачья! Ну скажите, придумайте что-нибудь!

— Нет! И буду благодарен, если ты не станешь больше сыпать бранью у меня в доме. Это не годится для леди.

Я еще не совсем разозлилась, просто очень хотела получить то, что мне обещали. Что-то внутри меня переполнилось, и я с размаху шлепнула его по пухлой руке с бокалом. Остатки скотча оросили внушительную площадь лица великого писателя, а бокал, спружинив о толстый нос, по-балетному закружился в воздухе и вдребезги разлетелся о старинный деревянный пол.

— Лидевью, — спокойно произнес ван Хутен. — Один мартини, пожалуйста. С намеком на вермут.

— Я у вас уже не работаю, — сказала Лидевью через несколько секунд.

— Не глупи.

Я не знала, что делать. Уговоры не помогли. Буйство не сработало. Мне нужен ответ. Я прилетела сюда из Америки, потратила Заветное Желание Огастуса. Мне нужно знать!

— Вы когда-нибудь поймете, — уже невнятно произнес он, — почему вас так волнуют ваши глупые вопросы.

— Вы обещали!!! — выкрикнула я, и мой крик отдался в ушах бессильным воем Айзека в ночь разбитых призов. Ван Хутен не ответил.

Я стояла над ним, ожидая каких-нибудь слов, когда рука Огастуса легла мне на плечо. Он потянул меня к двери, и я пошла за ним. Вслед нам ван Хутен разразился тирадой о неблагодарности современных подростков и гибели культурного общества, а Лидевью почти в истерике кричала на него на быстром-быстром голландском.

— Вы уж простите мою бывшую помощницу, — сказал ван Хутен. — Голландский — это не язык, это заболевание горла!

Огастус вывел меня из гостиной, довел до порога, и мы вместе вышли в весеннее утро под конфетти вязов.

Для меня не существует такой возможности, как вылететь подобно пуле, но мы сошли по ступенькам — тележку держал Огастус — и пошли к «Философу» по неровному тротуару, в сложном порядке вымощенному прямоугольными камнями. Впервые после истории с качелями я заплакала.

— Эй, — сказал Огастус, тронув меня за талию. — Эй, это все ничего! — Я кивнула и

вытерла лицо тыльной стороной ладони. — Вот козел... — Я снова кивнула. — Напишу я тебе эпилог, — пообещал Гас. Я заплакала сильнее. — Обязательно напишу, — повторил он. — И получше любого дерьма, которое накропает эта пьянь. У него мозг уже как швейцарский сыр. Он даже не помнит, что когда-то написал книгу. Я могу написать в десять раз лучше. У меня в романе будет кровь, кишки и высокая жертвенность, смесь «Царского недуга» и «Цены рассвета». Тебе понравится.

Я кивала, сияясь улыбнуться, а потом он меня обнял, прижав сильными руками к мускулистой груди, и я слегка промочила его рубашку-поло, но вскоре смогла говорить.

— Я потратила твое Заветное Желание на этого урода, — пробормотала я в грудь Огастусу.

— Нет, Хейзел Грейс. Я, так и быть, соглашусь, что ты потратила мое единственное Желание, но не на него. Ты потратила его на нас.

Сзади послышался частый цокот каблуков — кто-то торопился нас догнать. Я обернулась. Это была деморализованная Лидевью с растекшейся до щек подводкой, бежавшая за нами по тротуару.

— Давайте сходим в дом Анны Франк, — предложила она.

— Я никуда не пойду с этим чудовищем, — возразил Огастус.

— А его никто и не приглашает, — сказала Лидевью.

Огастус по-прежнему обнимал меня жестом защиты, прикрывая ладонью половину моего лица.

— Вряд ли... — начал он, но я перебила:

— Мы с удовольствием сходим.

Мне по-прежнему хотелось ответов от ван Хутена, но это было не все, чего мне хотелось. У меня осталось всего два дня в Амстердаме с Огастусом Уотерсом, и я не позволю законченному старому дураку все испортить.

У Лидевью был громоздкий серый фиат с мотором, звук которого напоминал бурный восторг четырехлетней девочки. Когда мы ехали по улицам Амстердама, Лидевью многократно и многословно извинялась.

— Мне очень жаль, это непростительно, но он очень болен, — говорила она. — Я думала, встреча с вами ему поможет, показав, что в романе описаны реальные судьбы, но... Мне очень, очень жаль. Крайне неловко вышло. — Ни я, ни Огастус ничего не сказали. Я сидела сзади, рядом с ним, и украдкой водила рукой между соседним сиденьем и спинкой, но не могла нащупать его руку. Лидевью продолжала:

— Я работала у Питера, потому что считала его гением, и оплата хорошая, но постепенно он превратился в чудовище.

— Видимо, он хорошо заработал на своем романе, — помолчав, заметила я.

— О нет-нет, дело не в этом. Он же ван Хутен, — сказала Лидевью. — В семнадцатом веке один из его предков открыл способ смешивать какао с водой. Часть ван Хутенов давно перебралась в Соединенные Штаты, Питер их потомок, но после выхода книги он вернулся в Нидерланды. Он — позор своей великой семьи.

Мотор заскрипел. Лидевью переключила передачу, и мы въехали на крутой мост.

— Это все обстоятельства, — объявила она. — Обстоятельства сделали его таким жестоким, он ведь не дурной человек. Но сегодняшнего я никак не ожидала. Когда Питер говорил такие ужасные вещи, я не верила своим ушам. Я очень, очень, очень извиняюсь.



Парковаться пришлось за квартал от дома Анны Франк, и пока Лидевью стояла в очереди, чтобы взять нам билеты, я сидела спиной к маленькому деревцу и глядела на пришвартованные жилые лодки на канале Принсенграхт. Огастус стоял надо мной, неторопливо возя кругами тележку с кислородным баллоном и наблюдая, как крутятся колесики. Я хотела, чтобы он присел рядом, но знала, что ему трудно садиться и еще тяжелее вставать.

— Ладно? — спросил он, взглянув на меня сверху вниз. Я пожала плечами и положила руку на его икру. Это была часть протеза, но я держалась за него. Гас продолжал смотреть на меня.

— Я хотела... — начала я.

— Я знаю, — сказал он. — Мир действительно не фабрика по исполнению желаний.

Я слабо улыбнулась.

Вернулась Лидевью с билетами. Ее тонкие губы были тревожно сжаты.

— Там нет лифта, — предупредила она. — Я очень извиняюсь.

— Ничего, — успокоила я ее.

— Да, но там много ступенек, — возразила она. — Крутых ступенек.

— Не важно, — ответила я. Огастус начал что-то говорить, но я перебила: — Ничего, я справлюсь.

Мы начали с комнаты с видеофильмом о евреях в Нидерландах, вторжении нацистов и семье

Франк. Затем мы поднялись в дом над каналом, где Отто Франк вел свой бизнес. Поднимались мы медленно — и я, и Огастус, — но я чувствовала себя сильной. Вскоре я смотрела на знаменитый книжный шкаф, за которым прятались Анна Франк, ее семья и еще четыре человека. Шкаф был приоткрыт, и за ним была видна узкая крутая лесенка, по которой можно было подниматься только по одному. Вокруг были и другие посетители, я не хотела никого задерживать, но Лидевью сказала: «Прошу у всех чуточку терпения», и я пошла наверх. Лидевью позади несла мою тележку, а Га с шел третьим.

Ступенек было четырнадцать. Я все думала о людях за мной, в основном взрослых, говоривших на разных языках, и сгорала от неловкости, чувствуя себя призраком, который и пугает, и успокаивает. Наконец я оказалась в странно пустой комнате и прислонилась к стене, мозг говорил легким: все нормально, все нормально, успокойтесь, все нормально! — а легкие отвечали мозгу: о Боже, мы тут дышим! Я даже не видела, как Огастус поднялся наверх, но он подошел, вытер лоб рукой, якобы отдуваясь, и сказал:

— Ты чемпион.

Через несколько минут стояния — чуть ли не сползания по стене — я смогла перейти в соседнюю комнату, в которой жила Анна и зубной врач Фриц Пфедфер. Комнатка была крошечной, безо всякой мебели. Невозможно было догадаться, что здесь кто-то жил, если бы не картинки из журналов и газет, которые Анна приклеила на стену. Здесь они и остались.

Еще одна лестница вела в комнату, где жила семья ван Пельцев. Восемнадцать крутых ступенек — ни дать ни взять знаменитая лестница в рай. Встав на пороге, я измерила их взглядом и поняла — не осилю, но единственная дорога отсюда вела наверх.

— Пошли обратно, — предложил Гас.

— Все нормально, — тихо ответила я. Глупо, но мне казалось, что я перед ней в долгу — перед Анной Франк, я имею в виду, — потому что она мертва, а я нет, потому что она сидела не дыша, не поднимала жалюзи, все делала правильно и все равно умерла, и поэтому я должна подняться по лестнице и увидеть остальной мир, в котором она прожила несколько лет, прежде чем за ней пришли гестаповцы.

По ступенькам я карабкалась, как маленький ребенок, медленно, чтобы оставить себе возможность дышать и осмотреться наверху, прежде чем упаду в обморок. Чернота

заползала в сознание со всех сторон, а я затаскивала себя вверх по восемнадцати ступенькам, крутых, как не знаю что. Наконец я одолела лестницу, почти ничего не видя и борясь с тошнотой; мышцы рук и ног беззвучно вопили, требуя кислорода. Спиной по стене я осела на пол, дергаясь от глухого кашля. Надо мной была привинчена пустая витрина, и я смотрела через стекло на потолок, стараясь не потерять сознание.

Лидевью присела возле меня на корточки.

— Ты на самом верху, больше лезть не придется.

Я кивнула. Я смутно понимала, что взрослые во круг посматривают на меня с тревогой и что Лидевью тихо говорит с ними на одном языке, затем на другом и потом еще на третьем, а Огастус стоит рядом и гладит меня по волосам.

Спустя много времени Лидевью и Огастус помогли мне подняться на ноги, и я увидела, что защищала стеклянная витрина — карандашные отметки на обоях, показывающие рост детей в период жизни здесь: дюйм за дюймом до того момента, когда они уже не могли больше расти.

Жилые помещения Франков на этом заканчивались, но мы по-прежнему были в музее — в длинном узком коридоре висели фотографии каждого из восьми жителей флигеля и описания: как, где и когда они умерли.

— Единственный из всей семьи, кто пережил войну, — сказала Лидевью, показывая на отца Анны, Отто. Она говорила негромко, будто в церкви.

— Он не войну пережил, — уточнил Огастус. — Он пережил геноцид.

— Верно, — согласилась Лидевью. — Не представляю, как дальше жить без своей семьи. Просто не представляю.

Когда я читала о каждом из семерых умерших, я думала об Отто Франке, которого уже никто больше не звал папой, оставшегося с дневником Анны вместо жены и двух дочерей. В конце

коридора огромная, больше словаря, книга содержала имена 103 000 погибших в Нидерландах во время холокоста (только 5000 из депортированных голландских евреев, как гласила табличка на стене, выжили. Пять тысяч Отто Франков). Книга была открыта на странице с именем Анны Франк, но меня поразило, что сразу за ней шли четыре Аарона Франка. Четыре. Четыре Аарона Франка без посвященных им музеев, без следа в истории, без кого-то, кто плакал бы по ним. Я про себя решила помнить и молиться за четверых Ааронов Франков, пока буду жива (может, кому-то и нужно верить во всемогущего Бога по всем правилам, чтобы молиться, но не мне).

Когда мы дошли до конца комнаты, Гас остановился и спросил:

— Ты в порядке?

Я кивнула.

Он показал на фотографию Анны.

— Обиднее всего, что они почти спаслись, понимаешь? Она погибла за несколько недель до освобождения Нидерландов.

Лидевью отошла на несколько шагов посмотреть видеофильм. Я взяла Огастуса за руку, и мы перешли в следующий зал. Это было помещение в форме буквы А с несколькими письмами Отто Франка, которые он писал разным людям во время многомесячных поисков своих дочерей. На стене посреди комнаты демонстрировалась видеозапись выступления Отто Франка. Он говорил по-английски.

— А остались еще нацисты, чтобы я смог их отыскать и подвергнуть правосудию? — спросил Огастус, когда мы склонились над витринами, чтобы прочитать письма Франка и ответы на них, вселяющие отчаяние, — нет, никто не видел его детей после освобождения города.

— Мне кажется, все уже умерли. Но нацисты не приобретали монополии на зло.

— Да уж, — заметил он. — Вот что нам надо сделать, Хейзел Грейс: мы должны объединиться в команду и бдящей двойкой инвалидов с ревом моторов нестись по миру, выправляя кривду, защищая слабых и помогая тем, кто в опасности.

Хотя это была его мечта, а не моя, я отнеслась к ней снисходительно. В конце концов, снизошел же Гас к моей мечте.

— Бесстрашие будет нашим секретным оружием, — сказала я.

— Легенды о наших подвигах будут жить, покуда на Земле будет звучать человеческий голос, — провозгласил он.

— И даже потом, когда роботы отменят людские нелепости вроде жертвенности и сочувствия, нас будут помнить.

— И они станут смеяться механическим смехом над нашим отважным безрассудством, — подхватил Гас. — И в металлических сердцах зародится желание жить и умереть, как мы — при выполнении героической миссии.

— Огастус Уотерс, — произнесла я, глядя на него и думая, что нехорошо целовать кого-то в доме Анны Франк, но потом решила, что целовала же Анна Франк кого-то в доме Анны Франк и ей бы, наверное, понравилось, если бы в этом доме даже юных и непоправимо увечных охватывала любовь.

— Должен сказать, — с акцентом говорил по-английски Отто Франк в видеофильме, — что я был немало удивлен глубиной мыслей Анны.

И мы поцеловались. Моя рука отпустила тележку с кислородом и обняла Гаса за шею, а он подтянул меня за талию, заставив привстать на цыпочки. Когда его приоткрытые губы коснулись моих, я почувствовала, что задыхаюсь новым и приятным способом. Все вокруг нас исчезло, и я несколько странных мгновений любила свое тело: этот изъеденный раком космический костюм, который несколько лет на себе таскаю, вдруг показался мне стоящим потраченных усилий, легочных дренажей, центральных катетеров и бесконечного предательства со стороны собственного организма в виде метастазов.

— Это была совсем другая Анна, которую я не знал. Внешне дочь никогда не проявляла своих чувств, — сказал Отто Франк.

Поцелуй длился вечно. Отто Франк за моей спиной продолжал говорить:

— Отсюда я делаю вывод — я ведь был в очень доверительных отношениях с Анной, — что многие родители не знают своих детей.

Я вдруг поняла, что глаза у меня закрыты, и поспешила их открыть. Огастус смотрел на меня. Его голубые глаза были совсем близко к моим, ближе, чем когда-либо, а за ним в три ряда стояли остальные посетители, практически взяв нас в кольцо. Я решила, что они рассержены. Шокированы. Ах, эти подростки со своими гормонами! Надо же, милуются перед экраном, где дрожащим голосом вещает потерявший детей отец!

Я отодвинулась от Огастуса и уставилась на свои кеды. Он коснулся губами моего лба. И вдруг вокруг начали хлопать. Все посетители, все эти взрослые зааплодировали, а один крикнул «Браво!» с европейским акцентом. Огастус, улыбаясь, поклонился. Я со смехом сделала крошечный реверанс, встреченный новым взрывом аплодисментов.

Мы сошли вниз, пропустив всех вперед, и уже собирались отправиться в кафе (слава Богу, на первый этаж и в магазин сувениров нас отвез лифт), когда увидели странички из дневника Анны и ее неопубликованный цитатник, лежавший открытым на странице шекспировских фраз. «Кто столь тверд, чтобы устоять перед соблазном?» — писала она.

Лидевью привезла нас к «Философу». У самой гостиницы пошел мелкий дождик, и мы с Огастусом стояли на мощеном тротуаре, медленно промокая.

Огастус: Тебе, наверное, надо отдохнуть.

Я: Да ладно, все нормально.

Огастус: Ладно. (Пауза.) О чем ты думаешь?

Я: О тебе.

Огастус: А что ты обо мне думаешь?

Я: Не знаю, что и предпочесть, / Красу рулад / Иль красоту подтекста, / Пенье дрозда / Или молчанье после.[13]

Огастус: Боже, какая ты сексуальная!!

Я: Можем пойти к тебе в номер.

Огастус: Я слышал предложения и похуже.

\* \* \*

В крошечный лифт мы втиснулись вместе. Каждая поверхность, включая пол, была зеркальной. Дверь полагалось закрывать вручную, и старенький агрегат со скрипом медленно поехал на второй этаж. Уставшая, вспотевшая, я боялась, что выгляжу и пахну ужасно, но, несмотря на страх, я поцеловала Огастуса в лифте, а он, чуть отодвинувшись, показал на зеркало:

— Смотри, бесконечность из Хейзел.

— Некоторые бесконечности больше других бесконечностей, — прогнусавила я, передразнивая ван Хутена.

— Вот сволочь, клоун идиотский! — сказал Огастус, а между тем мы все ехали на второй этаж. Наконец лифт рывком остановился, и Гас взялся за зеркальную дверь. Приоткрыв ее наполовину, он вздрогнул от боли и отпустил ручку.

— Ты что? — испугалась я.

Через секунду он произнес:

— Ничего, ничего, просто дверь тяжелая.

Он снова толкнул ее от себя, и на этот раз все получилось. Он, разумеется, пропустил меня вперед, но я не знала, в какую сторону идти по коридору, поэтому я стояла у лифта, и Гас тоже остановился. Лицо его исказила гримаса боли. Я снова спросила:

— Тебе плохо?

— Совсем потерял форму, Хейзел Грейс. Все в порядке.

Мы стояли в коридоре, он не вел меня к себе в номер, а я не знала, где он живет. Патовая ситуация затягивалась, и мне уже казалось, что он пытается придумать отговорку, чтобы со мной не связываться, и не надо мне было вообще такого предлагать, это неблагородно и невоспитанно и оттолкнуло Огастуса Уотерса, который стоит и, моргая, смотрит на меня, ломая голову, как вежливо отделаться. Спустя целую вечность он произнес:

— Это выше колена и немного болтается, но там не просто кожа, там уродливый шрам, выглядит как...



— Ты о чем? — не поняла я.

— О ноге, — уточнил он. — Чтобы ты была готова на случай, ну, то есть если вдруг ты ее увидишь или там...

— О, да пересиль ты себя. — Я сделала два шага, преодолев разделявшее нас расстояние. Прижав Огастуса к стене, я с силой поцеловала его и продолжала целовать, пока он искал ключ от номера.

Мы добрались до кровати — мою свободу несколько сковывал кислородный баллон с трубкой, но я все равно смогла забраться на Гаса сверху, стянуть с него рубашку и попробовать на вкус пот на его ключице, прошептав в кожу:

— Я люблю тебя, Огастус Уотерс.

При этих словах он немного расслабился подо мной. Гас потянул с меня футболку, но запутался в канюле. Я засмеялась.

— Как ты это делаешь каждый день? — спросил он, пока я освобождала футболку от трубки. Мне пришла в голову идиотская мысль, что мои розовые трусы не сочетаются с фиолетовым лифчиком. Можно подумать, мальчишки вообще замечают такие вещи. Забравшись под покрывало, я стянула джинсы и носки и смотрела, как танцует одеяло, под которым Огастус снимал джинсы, а затем и ногу.

\* \* \*

Мы лежали на спине рядом друг с другом, до подбородка укрывшись одеялом, и через секунду я коснулась его бедра и провела пальцами вниз по культе, заканчивавшейся плотной, в рубцах, кожей. На секунду я задержала там руку. Он вздрогнул.

— Больно? — спросила я.

— Нет, — ответил он.

Он перевернулся на бок и поцеловал меня.

— Ты такой красивый, — сказала я, не отпуская его ноги.

— Я начинаю думать, что ты фетишистка ампуты, — ответил он, целуя меня. Я рассмеялась.

— Я фетишистка Огастуса Уотерса, — сказала я.

Весь процесс оказался абсолютной противоположностью тому, чего я ожидала: и медленный, и терпеливый, и тихий, и без особой боли, но и без особого экстаза. Было много проблем с презервативом, которые вызвали у меня легкое раздражение. Спинка кровати осталась целой, криков не было. Честно признаюсь, это было самое долгое время, которое мы провели вместе не разговаривая.

Только одно получилось в полном соответствии с шаблоном: потом, когда я лежала щекой на груди Огастуса, слушая, как бьется его сердце, он сказал:

— Хейзел Грейс, у меня буквально слипаются глаза.

— Это злонамеренная эксплуатация буквальности! — заявила я.

— Нет, — ответил он. — Я что-то очень устал.

Голова Огастуса склонилась на сторону, а я лежала, прижавшись ухом к его груди, слушая, как легкие в глубине настраиваются на ровный ритм сонного дыхания.

Через некоторое время я встала, оделась, оторвала листок для записей с эмблемой отеля «Философ» и написала Гасу любовное письмо.

Дражайший Огастус,

Твоя Хейзел Грейс.

На следующее утро, в наш последний день в Амстердаме, мама, Огастус и я прошли полквартиры от гостиницы до Вондельпарка, где заглянули в кафе возле Музея национального голландского кино. За чашкой латте, который, как объяснил нам официант, голландцы называют неправильным кофе, потому что в нем больше молока, чем кофе, мы сидели в кружевной тени огромного каштанового дерева и в подробностях пересказывали нашу встречу с великим Питером ван Хутеном. Мы сделали историю забавной. Я считаю, у нас все-таки есть выбор в этом мире — например, как рассказывать несмешные истории. Нашу мы превратили в юмореску. Огастус, развалившись на уличном стуле, притворялся ван Хутеном с заплетающимся языком, который не в силах подняться из кресла, а я встала, чтобы показать себя — хорохорящуюся и распираемую мачизмом.

— Поднимайся, старый жирный урод! — крикнула я.

— Разве ты называла его уродом? — удивился Огастус.

— Ты реплику не задерживай, — сказала я.

— Я н-не урррод, с-с-сама ты носотрубная.

— Ты трус! — зарычала я, и Огастус расхохотался, выйдя из образа. Я села. Мы рассказали маме о доме Анны Франк, не упоминая о поцелуе.

— А потом вы вернулись к ван Хутену? — спросила мама.

Огастус не дал мне ни секунды покраснеть.

— Нет, посидели в кафе. Хейзел меня немало порадовала юмором одной диаграммы Венна.

— Он взглянул на меня. Боже, как хорош этот парень!

— Прелестно, — сказала Гасу мама. — Слушайте, я отправляюсь на прогулку и даю вам возможность пообщаться. Может, потом решимся на экскурсию по каналам.

— Гм, ну хорошо, — ответила я. Мама оставила под блюдцем банкноту в пять евро, поцеловала меня в макушку и прошептала: «Я тебя люблю-люблю-люблю», то есть на два «люблю» больше, чем обычно.

Гас показал на бетонный пол, где перекрещивались и расходились тени от ветвей.

— Красиво, правда?

— Да, — согласилась я.

— Какая хорошая метафора, — пробормотал он.

— Неужели? — спросила я.

— Негативное отображение вещей соединяется ветром и тут же расходится, — пояснил он.

Мимо нас бежали трусцой, проезжали на велосипедах или на роликах сотни людей. Амстердам — город, созданный для движения и деятельности, город, где лучше не ездить на машине, поэтому я не могла не чувствовать себя исключенной из Амстердама. Но, Боже, как тут было красиво — ручей, пробивший себе путь вокруг огромного дерева, цапля, спокойно стоявшая у кромки воды, выискивая завтрак среди миллионов лепестков вязов, плававших в воде...

Огастус ничего не замечал, заглядевшись, как движутся тени. Наконец он сказал:

— Я могу смотреть на это целый день, но мы должны вернуться в гостиницу.

— А время у нас есть? — спросила я.

Он печально улыбнулся:

— Если бы.

— Что стряслось? — спросила я.

Он кивнул назад, на отель.

Мы шли молча, Огастус на полшага впереди. Я не решалась спросить, есть ли у меня причины бояться.

Есть одна штука под названием иерархия потребностей Маслоу. Абрахам Маслоу прославился теорией, что сперва надо удовлетворить одни потребности, прежде чем появятся другие. Вот как это выглядит:

Удовлетворив потребность в пище и воде, вы переходите к следующей группе — к безопасности, затем к другой, и так далее. Важно здесь то, что, согласно Маслоу, пока не удовлетворены физиологические потребности, человек не в состоянии даже думать о безопасности или любви, не говоря уже о самореализации, которая, видимо, начинается, когда вы занимаетесь искусством или размышляете о морали или квантовой физике.

Согласно Маслоу, я застряла на втором уровне пирамиды, неспособная доверять своему здоровью и соответственно не имеющая возможности посягнуть на любовь, уважение, искусство и так далее, что, конечно, полная фигня и вранье. Желание заниматься искусством или ломать голову над философскими проблемами не исчезает, когда вы заболеваете. Оно лишь претерпевает изменения в связи с болезнью.

Пирамида Маслоу как бы намекает, что я менее человек, чем другие, и большинство людей с этим согласны. Но не Огастус. Я всегда думала — может, он влюбился в меня, потому что переболел раком. И только сейчас мне пришло в голову, что он по-прежнему может быть

болен.

Мы пришли в мой номер, в Кьеркегор. Я села на кровать, ожидая, что Огастус сядет рядом, но он опустил в низенькое пыльное кресло с пейсли. Ну и рухлядь! Сколько ей может быть лет? Пятьдесят?

Пинг-понговый шарик в основании горла у меня затвердел, когда Гас вытащил сигарету из пачки и сунул в губы. Он откинулся на спинку и вздохнул.

— Перед тем как ты попала в интенсивную, я впервые почувствовал боль в бедре.

— Нет, — сказала я. Паника накатывалась, словно вминая меня в асфальт.

Он кивнул:

— Я ходил на позитронное сканирование.

Он замолчал, выдернул сигарету изо рта и стиснул зубы.

Немалую часть своей жизни я посвятила стараниям не расплакаться перед теми, кто меня любит, поэтому я понимала, что делает Огастус. В таких случаях стискиваешь зубы, смотришь в потолок, говоришь себе: если они увидят твои слезы, им будет больно и ты превратишься для них в тоску номер один, а унывать последнее дело! Поэтому ты не плачешь, и говоришь себе все это, глядя в потолок, и проглатываешь комок, хотя горло не желает смыкаться, и смотришь на человека, который тебя любит, и улыбаешься.

Он сверкнул своей однобокой улыбкой и сказал:

— Я свечусь, как рождественская елка, Хейзел Грейс. Грудь с обеих сторон, левое бедро,

печень — везде.

Везде. Это слово несколько секунд висело в воздухе. Мы оба знали, что это значит. Я подошла, таща свое тело и тележку по ковру, который был старше, чем когда-либо будет Огастус, опустилась на колени, положила голову ему на бедро и обхватила за талию.

Он погладил меня по волосам.

— Вот беда-то, — прошептала я.

— Я должен был тебе сказать, — спокойно произнес он. — Твоя мама, по-моему, знает. Она так по-особенному на меня смотрит. Видимо, моя мать что-то ей наплела. Надо было тебе сказать. Глупо получилось. Эгоистично.

Я прекрасно понимала, почему он ничего не сказал: по той же причине, по которой и я не желала, чтобы он видел меня в интенсивной. Я не могла сердиться на него ни секунды. Только теперь, когда я сама любила гранату, до меня дошла ослиная глупость попытки спасти других от моей неминуемой и скорой дефрагментации: я не могу разлюбить Огастуса Уотерса. И не хочу.

— Это нечестно, — сказала я. — Это так гадски несправедливо!

— Мир, — напомнил Огастус, — не фабрика по исполнению желаний.

И разрыдался — всего на мгновение, бессильно и яростно, как вспыхивает молния после раската грома, с неистовостью, которую дилетанты в области страданий могли бы принять за слабость. Затем он притянул меня к себе — между нашими лицами осталось всего несколько дюймов — и решительно заявил:

— Я буду бороться. Я буду бороться ради тебя. Ты за меня не волнуйся, Хейзел Грейс. Со мной все нормально. Я найду способ болтаться рядом и еще долго капать тебе на мозги.



Я плакала. Но Огастус был еще силен, он обнимал меня так крепко, что я видела жилистые мускулы его рук.

— Прости меня. С тобой все будет хорошо. Все будет хорошо, обещаю, — сказал он и улыбнулся уголком рта.

Он поцеловал меня в лоб, и я почувствовала, что его крепкая грудь спортсмена немного расслабилась.

— Пожалуй, у меня все-таки есть гамартия.

Через некоторое время я потянула его к кровати, и мы легли. Гас сказал мне, что они начали паллиативную химиотерапию, но он прервал курс ради поездки в Амстердам, хотя родители пришли в ярость. Они пытались остановить его до того самого утра, когда он кричал за дверью, что его тело принадлежит ему.

— Можно было перенести поездку, — сказала я.

— Нельзя, — ответил он. — Да и терапия в любом случае не помогала. Я же чувствую, когда не помогает, понимаешь?

Я кивнула.

— Паллиативная вообще фигня, — заметила я.

— Когда я вернусь, мне предложат что-нибудь другое. У них всегда найдется новая идея.

— Да уж! — Я и сама вдоволь побывала в роли экспериментальной подушечки для иглоков.

— Получается, я тебя обманул, заставив поверить, что ты влюбляешься в здорового, — сказал Гас.

Я пожала плечами.

— Я бы сделала для тебя то же самое.

— Нет, ты бы так не сделала, но не все такие чудесные, как ты. — Он поцеловал меня и сморщился от боли.

— Болит? — спросила я.

— Нет. Просто... — Он долго смотрел в потолок и наконец сказал: — Я люблю этот мир. Я люблю пить шампанское. Мне нравится не курить, нравится слушать, как голландцы говорят по-голландски, а теперь... Я так ни в чем и не поучаствовал. Ни в одном бою не был.

— Тебе нужно победить рак! Это твой бой. И ты будешь продолжать борьбу, — уверяла я. Терпеть не могу, когда меня накачивают, настраивая на борьбу, но тут начала делать то же самое. — Ты... Ты... ты старайся прожить сегодняшний день как лучший в жизни. Теперь это твоя война. — Я презирала себя за дешевые сантименты, но что еще мне оставалось?

— Война, — произнес он. — С чем я воюю? С моим раком. Что есть мой рак? Мой рак — это я. Опухоли состоят из меня, как состоит из меня мой мозг, мое сердце. Это гражданская война, Хейзел Грейс, с заранее известным победителем.

— Гас, — позвала я. И не могла добавить ничего больше. Он был слишком умен для любых моих утешений.

— Ладно. — Но ладно ничего не было. Через секунду он сказал: — Если ты пойдешь в Рийксмузеум, куда я очень хочу сходить... А-а, кого я обманываю, ни ты, ни я целый музей не осилим! Я смотрел экспозицию онлайн еще от отъезда... Если ты туда сходишь, и я надеюсь, однажды ты туда сходишь, то увидишь множество изображений умерших. Ты

увидишь Иисуса на кресте, и чувака, которого закололи в шею, и людей, умирающих в море или в бою, и целый парад мучеников, но НИ ОДНОГО РЕБЕНКА, УМЕРШЕГО ОТ РАКА. На картинах никто не склеивает ласты от чумы, оспы, желтой лихорадки, потому что в болезни нет славы. В такой смерти нет глубины и примера. В смерти нет чести, если умираешь ОТ чего-то.

Абрахам Маслоу, позвольте представить вам Огастуса Уотерса, который по экзистенциальному любопытству затмевает своих кормленых, zalюбленных, здоровых собратьев. В то время как множество мужчин живут, не зная, что такое обследование, хватая от жизни большущие куски, Огастус Уотерс с другого континента изучает собрание Рийксмузеума.

— Что? — спросил Огастус спустя некоторое время.

— Ничего, — отозвалась я. — Просто... — Я не смогла закончить предложение. Не знала как. — Я просто очень-очень тебя люблю.

Он улыбнулся половинкой рта. Его нос был в дюйме от моего.

— Взаимно. Я рассчитываю, что ты об этом не забудешь и не станешь обращаться со мной как с умирающим.

— Я не считаю тебя умирающим, — произнесла я. — Я думаю, что у тебя всего лишь небольшой рак.

Он улыбнулся. Да, юмор висельника.

— Я на американских горках, и мой поезд едет только вверх, — сказал он.

— А моя привилегия и обязанность ехать с тобой всю дорогу, — заключила я.

— А попробовать сейчас пофлиртовать будет очень абсурдно?

— Никаких проб, — отрезала я. — Сразу практика.

## Глава 14

В самолете, находясь в двадцати тысяч футов над облаками, которые плыли над землей на высоте десять тысяч футов, Га с сказал:

— Я раньше думал, что жить на облаке прикольно.

— Да, — согласилась я. — Словно в надувном воздушном замке, только навсегда.

— Но в средней школе на уроке физики мистер Мартинес спросил, кто из нас мечтал когда-нибудь пожить на облаках. Все подняли руки. Тогда мистер Мартинес сказал, что на уровне облачного слоя дует ветер со скоростью сто пятьдесят миль в час, температура тридцать градусов ниже нуля и нет кислорода, поэтому все мы умрем за считанные секунды.

— Какой хороший у вас физик был.

— Он специализировался на подрыве воздушных замков, Хейзел Грейс. Думаете, вулканы красивые? Скажите это десяти тысячам вопящих трупов в Помпеях. По-прежнему втайне верите в элемент волшебства в нашем мире? А ведь это все бездушные молекулы, в случайном порядке сталкивающиеся друг с другом. Беспокойтесь, кто будет о вас заботиться, если умрут ваши родители? Определенно стоит, потому что в назначенный срок

они станут пищей для червей.

— Неведение — благо, — сказала я.

Стюардесса шла по проходу с тележкой напитков, спрашивая полусшепотом:

— Что будете пить? Что будете пить?

Гас перегнулся через меня и поднял руку:

— Можно нам шампанского, пожалуйста?

— Вам есть двадцать один год? — с сомнением спросила она. Я демонстративно поправила канюли в ноздрях. Стюардесса улыбнулась и бросила взгляд на мою спящую маму. — А она не будет возражать?

— Не-а, — отозвалась я.

И стюардесса налила шампанского в две пластиковые чашечки. Раковый бонус.

Мы с Гасом вмяли наши чашки друг в дружку.

— За тебя, — сказал он.

— За тебя, — согласилась я.

Мы пили маленькими глотками. Звезды оказались тусклее, чем в «Оранже», но все равно вкусные.

— Знаешь, — начал Гас, — все, что сказал ван Хутен, правда.

— Может, и правда, но ему незачем было вести себя как последняя сволочь. Ничего себе, для хомяка он будущее представляет, а для матери Анны нет!

Огастус пожал плечами, будто сразу отгородившись от всего.

— Ты чего? — спросила я.

Он едва заметно качнул головой.

— Больно, — объяснил он.

— В груди?

Он кивнул, стиснув кулаки. Позже он описывал ощущение — одноногий толстяк с туфлей на шпильке, воткнутой в середину груди. Я подняла свой столик, повернула ручку, закрепляя, и нагнулась к его рюкзаку искать таблетки. Гас проглотил одну с шампанским.

— Легче? — спросила я.

Он сидел, сжимая и разжимая кулак в ожидании, пока подействует лекарство, не столько утишавшее боль, сколько отделявшее Гаса от нее (и от меня).

— Похоже, у него что-то личное, — тихо сказал Гас. — Будто он неспроста вышел из себя. Я про ван Хутена.

Он быстрыми глотками допил шампанское и вскоре заснул.

Папа ждал нас у выдачи багажа, стоя среди водителей лимузинов в дорогих костюмах с табличками с фамилиями пассажиров: Джонсон, Бэррингтон, Кармайкл. Папа тоже держал лист с надписью «Моя замечательная семья» и припиской ниже «(и Гас)».

Я обняла его, и он расплакался (естественно). По дороге домой мы с Гасом рассказывали папе об Амстердаме, но только оказавшись дома, подключенной к Филиппу, глядя с папой старые добрые американские телеканалы и поедая американскую пиццу с салфеток, положенных на колени, я заговорила с отцом о Гасе.

— У Гаса рецидив, — произнесла я.

— Знаю, — ответил папа, пододвинулся ко мне и добавил: — Его мама сказала нам перед поездкой. Зря он от тебя это скрыл. Мне... мне очень жаль, Хейзел. — Я долго молчала. Шоу, которое мы смотрели, было о людях, выбиравших, какой дом им купить. — А я прочитал «Царский недуг», пока вас не было.

Я повернула голову:

— Ого! И что ты думаешь?

— Хорошо. Слегка мудрено для меня. Я же биохимию в университете изучал, а не литературу. Одного очень хотелось: чтобы роман по-человечески закончился.

— Да, — согласилась я. — Все жалуются.

— Еще роман немного безнадежный, — продолжил он. — И капитулянтский.

— Если под «капитулянтский» ты имеешь в виду «честный», то я соглашусь.

— Я не считаю поражение честным, — отозвался папа. — Я отказываюсь это принимать.

— Значит, все происходит согласно божественному замыслу, и мы все отправимся жить на облаках, играть на арфах и обитать во дворцах?

Папа улыбнулся. Он обнял меня своей большой рукой и, притянув к себе, поцеловал в висок.

— Я не знаю, во что я верю, Хейзел. По-моему, быть взрослым означает знать, во что веришь, но это не мой случай.

— Да, — произнесла я. — Ладно.

Папа повторил, что ему очень жаль Гаса, и мы снова принялись смотреть шоу, и люди выбирали дом, а папа все обнимал меня большой рукой, и я начала клевать носом, но спать ложиться не хотела, а потом папа сказал:

— Знаешь, во что я верю? Помню, в колледже я изучал математику у очень хорошего преподавателя, миниатюрной старушки. Она говорила о быстрых преобразованиях Фурье, но вдруг остановилась на полуслове и заметила: «Иногда мне кажется, Вселенная хочет, чтобы ее заметили». Вот во что я верю. Я верю, что Вселенная хочет, чтобы ее заметили. Я считаю, что Вселенная скорее имеет сознание, чем нет, что она особо выделяет интеллектуалов, потому что Вселенной нравится, когда замечают ее элегантность. И кто я, живущий в гуще истории, такой, чтобы утверждать, что Вселенная — или мое восприятие Вселенной — недолговечны?

— Ты очень умен, — уточнила я спустя некоторое время.

— Ты очень хорошо умеешь делать комплименты, — похвалил папа.

На следующее утро я приехала домой к Гасу. Съела завтрак с его родителями — сэндвичи с арахисовым маслом и желе, рассказала им об Амстердаме, а Гас в это время дремал в гостиной на диване, где когда-то мы смотрели «„V“ значит Вендетта». Я видела из кухни,



что он лежит на спине, отвернувшись от меня, уже с центральным катетером. Врачи атаковали рак новым коктейлем: два препарата химиотерапии и протеиновый рецептор, который, как они надеялись, блокирует раковый онкоген. Мне сказали, что Гасу повезло попасть в эту экспериментальную группу. Повезло, ага. Один из препаратов я знала. Когда при мне произнесли его название, меня чуть не вырвало.

Спустя некоторое время приехал Айзек с мамой.

— Привет, Айзек. Это Хейзел из группы поддержки, а не твоя злая бывшая подружка.

Мать подвела Айзека ко мне, и я, встав с принесенного из столовой стула, обняла его. Ему понадобилась секунда, чтобы меня найти, после чего он с силой обнял меня в ответ.

— Как там в Амстердаме? — спросил он.

— Классно, — ответила я.

— Уотерс, — позвал он. — Ты где, брателло?

— Он спит, — объяснила я, и голос у меня сорвался. Айзек покачал головой. Все молчали.

— Фигово, — произнес он через секунду. Мать подвела его к заранее подставленному стулу, и Айзек сел.

— Я пока еще могу командовать твоей слепой задницей в «Подавлении восставших», — сказал Огастус, не поворачивая головы. От лекарств его речь замедлилась, но немного, всего лишь до темпа разговора обычных людей.

— Готов поспорить, задницы все слепые, — отозвался Айзек, неопределенно шаря руками в воздухе в поисках матери. Она помогла ему подняться и подвела к дивану, где Гас и Айзек неловко обнялись.

— Как ты себя чувствуешь?

— Во рту как кот нагадил, но в остальном я на американских горках, и мой поезд едет только вверх, приятель, — ответил Гас. Айзек засмеялся. — Как твои глаза?

— Прекрасно, — заявил он. — Одна проблема: они уже не в своих орбитах.

— Да, расчудесно, — согласился Гас. — Не подумай, что я не мог без реванша, но мое тело, рискну сказать, сделано из рака.

— Я так и слышал, — сказал Айзек, стараясь бодриться и не расклеиваться. Он поискал руку Гаса, но наткнулся на его бедро.

— Он меня обогнал, — произнес Гас.

Мама Айзека принесла два стула из столовой, и мы с Айзеком уселись рядом с диваном. Я взяла Гаса за руку и стала поглаживать ее кругами между большим и указательным пальцами.

Взрослые спустились в подвал выражать соболезнования или не знаю зачем, оставив нас троих в гостиной. Некоторое время спустя Огастус повернул голову, медленно просыпаясь:

— А как там Моника? — спросил он.

— Ни разу ничего, — ответил Айзек. — Ни открыток, ни и-мейлов. У меня есть приставка, читающая и-мейлы. Классная штука, можно менять голос с мужского на женский, задавать акцент и все, что хочешь.

— То есть я могу послать тебе порнорасказ, и ты прослушаешь его в исполнении старого немца?

— Именно, — засмеялся Айзек. — Правда, мама еще помогает с управлением, поэтому придержи свое немецкое порно недельку-другую.

— Неужели она даже сообщение не прислала, чтобы узнать, как ты поправляешься? — не поверила я. Мне это показалось баснословной черствостью.

— Полное радиомолчание, — подтвердил Айзек.

— Нелепость какая, — сказала я.

— Я перестал об этом думать. У меня нет времени на подружку. Я с утра до вечера обучаюсь профессии «Как быть слепым».

Гас снова отвернулся к окну, выходящему во внутренний дворик. Его глаза закрылись.

Айзек спросил, как у меня дела, я сказала — хорошо, и он сообщил, что в группе поддержки появилась новая девочка с очень красивым голосом, и ему нужно, чтобы я сказала, красивая ли она на самом деле. Тут Огастус ни с того ни с сего разозлился:

— Нельзя нагло игнорировать бывшего парня, если ему вырезали чертовы глаза.

— Только один гла... — начал Айзек.

— Хейзел Грейс, у тебя есть пять долларов? — спросил Гас.

— Хм, — опешила я. — Ну да.

— Отлично. Мою ногу найдешь под кофейным столиком.

Гас оттолкнулся от кровати, сел и передвинулся к краю дивана. Я подала протез, который Гас медленными движениями пристегнул.

Я помогла Огастусу встать и, взяв Айзека за руку, повела его, обводя вокруг всякой мебели, неожиданно показавшейся очень громоздкой. Впервые за несколько лет я оказалась самым здоровым человеком в комнате.

Машину вела я, Огастус выступал в роли штурмана, Айзек сидел сзади. Мы остановились у продуктового магазина, где согласно команде Огастуса я купила дюжину яиц, пока Гас с Айзеком ждали в машине. А потом Айзек по памяти объяснял, как проехать к Монике, жившей в агрессивно-чистом двухэтажном доме около еврейского общинного центра. Ярко-зеленый понтиак «фаерберд» 90-х годов с толстыми покрышками, на котором ездила Моника, стоял на подъездной дорожке.

— Приехали? — спросил Айзек, почувствовав, что машина остановилась.

— Приехали, — подтвердил Огастус. — Знаешь, что мне кажется? Все надежды, какие мы имели глупость питать, сбываются.

— Она дома?

Гас медленно повернул голову к Айзеку.

— Какая разница, где она? Дело-то не в ней. Дело в тебе.

Гас сжал картонку с яйцами, которую держал на коленях, открыл дверцу и опустил ноги на дорогу. Он открыл дверцу для Айзека и помог ему выйти из машины. Я смотрела в зеркало, как они опираются друг о друга плечами и расходятся ниже, не соприкасаясь, словно молитвенно сложенные руки с не до конца сведенными ладонями.

Я опустила окошко и смотрела из машины — вандализм заставляет меня нервничать. Они осилили несколько шагов к зеленому понтиаку, затем Га с открыл картонку и сунул Айзеку в руку яйцо. Айзек метнул снаряд, промахнувшись по понтиаку на добрые сорок футов.

— Немного левее, — сказал Гас.

— Я попал немного левее или целиться нужно немного левее?

— Целься левее. — Айзек слегка развернул плечи. — Левее, — повторил Гас. Айзек повернулся еще. — Да, отлично. И бросай резко. — Гас подал новое яйцо. Айзек запустил второй снаряд. Яйцо просвистело над машиной и разбилось о пологий скат крыши дома.

— В яблочко! — сказал Гас.

— Правда? — загорелся Айзек.

— Нет, футов на двадцать выше машины. Ты бросай резко, но невысоко. И чуть правее по сравнению с последним броском. — Айзек сам нащупал яйцо в картонке, которую прижимал к груди Гас, и швырнул, попав в заднюю фару. — Есть! — закричал Гас. — Есть! Задний габаритный!

Айзек взял новое яйцо, сильно промазал вправо, затем новое, бросив слишком низко, и еще одно, залив белком и желтком заднее стекло. Затем он три раза подряд попал по багажнику.

— Хейзел Грейс! — крикнул мне Гас. — Скорей снимай, чтобы Айзек посмотрел, когда изобретут электронные глаза!

Я вылезла через опущенное стекло, уселась на дверцу и, опираясь локтями о крышу машины, сделала на мобильный незабываемый кадр: Огастус, с незажженной сигаретой во рту и неотразимой односторонней улыбкой, одной рукой высоко поднял над головой почти пустую картонку, а другой обнимает за плечи Айзека, чьи темные очки смотрят не совсем в камеру. На заднем плане яичный желток стекает по ветровому стеклу и бамперу зеленого «фаерберда». В этот момент открылась дверь дома.

— Что тут... — начала женщина средних лет через секунду после того, как я сделала снимок, — ...во имя Господа... — И тут она замолчала.

— Мэм, — сказал Огастус, обозначив поклон в ее сторону, — машина вашей дочери подвергается заслуженному забрасыванию яйцами слепым юношей. Пожалуйста, закройте дверь и оставайтесь в доме, иначе мы будем вынуждены вызвать полицию. — Поколебавшись, мамаша Моники плотно закрыла дверь. Айзек быстро побросал оставшиеся три яйца, и Гас повел его в машину. — Видишь, Айзек, если отобрать у них — впереди бордюр — ощущение собственной правоты, если повернуть ситуацию так, будто они сами нарушают закон, глядя — впереди ступеньки, — как их машину забрасывают яйцами, они теряются, пугаются и считают за благо вернуться к своей — ручка прямо перед тобой — тихой страшенькой жизни. — Гас открыл переднюю дверцу и медленно опустился на пассажирское сиденье. Двери хлопнули, я нажала на газ и проехала несколько сотен футов, прежде чем увидела, что передо мной тупик. Я развернулась и на хорошей скорости промчалась мимо дома Моники.

Больше мне уже не удалось сфотографировать Гаса.

## Глава 15

Через несколько дней в доме Огастуса наши родители и мы с Гасом, втиснувшись за круглый обеденный стол, ели фаршированные перцы. Стол был застелен скатертью, которую, по уверениям Гасова папаши, последний раз доставали в прошлом веке.

Мой папа: Эмили, это ризотто...

Моя мама: Просто объеденье.

Мама Гаса: О, спасибо. С удовольствием дам вам рецепт.

Гас, проглотив кусочек: Знаешь, первое впечатление — не «Оранже».

Я: Верное замечание, Гас. Хотя и вкусно, но не «Оранже».

Моя мама: Хейзел!

Гас: На вкус это как...

Я: Как пища.

Гас: Именно. На вкус это, как пища, искусно приготовленная. Но ей недостает, как бы деликатно выразиться...

Я: Непохоже, чтобы Бог собственноручно приготовил рай в виде перемены из пяти блюд, поданных со светящимися шарами ферментированной пузырящейся плазмы на столик у самого канала, где вы сидите под дождем из настоящих цветочных лепестков.

Гас: Удачно сказано.

Папа Гаса: Свообразные у нас детки.

Мой папа: Удачно сказано.

Через неделю после этого ужина Гас попал в реанимацию с болью в груди. Его оставили на ночь, поэтому на другое утро я поехала к нему в «Мемориал». Я не была здесь с тех пор, как навещала Айзека. В «Мемориале» не было надоевших ярких стен, раскрашенных в основные цвета, или картин в рамах, изображавших собак за рулем автомобиля, как в детской больнице, но голые стены пробудили во мне ностальгию по детской. «Мемориал» был невероятно функциональным. Пункт хранения. Накопитель. Прематорий.

Когда лифт открыл двери на четвертом этаже, я увидела миссис Уотерс, которая ходила по коридору, разговаривая по мобильному. При виде меня она быстро закончила разговор, подошла обнять меня и предложила подвезти тележку.

— Не надо, я справлюсь, — ответила я. — Как Гас?

— У него была трудная ночь, Хейзел, — начала рассказывать она. — Сердце работает на пределе. Ему велели ограничить активность. С этого дня — только инвалидное кресло. Назначили новое лекарство, которое должно эффективнее снимать боль. Только что приехали его сестры.

— Окей, — произнесла я. — Можно его увидеть?

Она обняла меня и стиснула плечо. Я почувствовала себя странно.

— Ты знаешь, что мы тебя любим, Хейзел, но сейчас нам нужно побыть семьей. Га с с этим согласился. Ладно?

— Ладно, — ответила я.

— Я скажу, что ты приходила.

— Ладно, — сказала я. — Я тогда тут почитаю немного.



Она пошла обратно в палату, где лежал Гас. Я все понимала, но я скучала по нему и не могла избавиться от мысли, что упускаю последний шанс увидеться и попрощаться. В зоне ожидания, с коричневым ковром и мягкими стульями, обитыми коричневой тканью, я присела на двухместный диванчик, поставив тележку с баллоном между коленей. Сегодня на мне были кеды и футболка с надписью «Это не труба», в точности как две недели назад, в День диаграммы венна, а Гас меня не увидит. Я начала просматривать на телефоне снимки за последние месяцы, будто рисованный в блокноте мультик наоборот, начиная с Гаса и Айзека у дома Моники и заканчивая первым снимком Огастуса, который я сделала в машине по дороге к Сексуальным костям. Казалось, сто лет прошло. Все было мимолетным и в то же время бесконечным. Некоторые бесконечности больше других бесконечностей.

Через две недели я катила кресло с Гасом по парку искусств к Сексуальным костям, положив ему на колени бутылку очень дорогого шампанского и свой кислородный баллон. Шампанское подарил один из врачей Гаса — такая уж Огастус Уотерс натура, вдохновляет врачей отдавать детям лучшее шампанское. Мы сели — Гас в своем кресле, я на влажную траву — так близко к Сексуальным костям, как удалось подкатить кресло. Я указала на малышей, подначивавших друг друга пропрыгать через остов грудной клетки до плеча. Гас негромко сказал — я едва расслышала его сквозь гам:

— В прошлый раз я представлял себя ребенком. В этот раз — скелетом.

Шампанское мы пили из бумажных стаканчиков с Винни-Пухом.

Типичный день с Гасом на последней стадии.

Я приезжала к нему домой около полудня, когда он уже успевал поесть и выблевать завтрак. Он встречал меня у дверей в инвалидном кресле, уже не мускулистый красавец, не сводивший с меня глаз в группе поддержки, но по-прежнему улыбающийся уголком губ, с незажженной сигаретой во рту, с яркими, живыми голубыми глазами.

За обеденным столом мы ели ленч с его родителями — сэндвичи с арахисовым маслом, желе и вчерашнюю спаржу. Гас ничего не ел. Я спросила, как он себя чувствует.

— Великолепно, — ответил он. — А ты?

— Хорошо. Что вчера делал?

— Много спал. Я хочу написать для тебя сиквел, Хейзел Грейс, но эта постоянная треклятая усталость...

— Можешь просто рассказать, — предложила я.

— Я по-прежнему придерживаюсь своего пре-ванхутеновского мнения о Тюльпановом Голландце: не мошенник, но не так богат, как о себе говорит.

— А мать Анны?

— Здесь я еще не остановился на одном варианте. Терпение, кузнечик, — улыбнулся Огастус. Родители тихо смотрели на него, не сводя глаз, будто хотели успеть натешиться шоу Гаса Уотерса, пока гастроли еще в городе. — Иногда я представляю, как пишу мемуары. Мемуары сохранят меня в сердцах и памяти преданных поклонников.

— Зачем тебе преданные поклонники, когда у тебя есть я? — спросила я.

— Хейзел Грейс, ты такая же очаровательная и физически привлекательная, как я сам, поэтому тебе легко влюблять в себя окружающих. Фокус в том, чтобы вызвать восхищение и любовь у незнакомцев.

Я округлила глаза.

После ленча мы выходили на задний двор. У Гаса еще хватало сил перевалить через порог, отрывая от земли маленькие колесики, чтобы перекатились большие, — по-прежнему спортивный, несмотря ни на что, одаренный равновесием и быстротой рефлексов, которые даже обилие обезболивающих не могло полностью заглушить.

Родители оставались в доме, но, когда я оглядывалась на дверь в гостиную, я всякий раз встречалась с ними взглядом.

Минуту мы сидели молча, затем Гас сказал:

— Я иногда жалею, что тех качелей больше нет.

— С моего двора?

— Да. Моя ностальгия дошла до крайности, я способен тосковать по качелям, на которые ни разу не опускалась моя задница.

— Ностальгия — побочный эффект рака, — напомнила я.

— Нет, ностальгия — побочный эффект умирания, — сказал он. Над нами дул ветер, и тени ветвей скользили по нашей коже. Гас сжал мою руку: — Жизнь — хорошая штука, Хейзел Грейс.

Мы возвращались в дом, когда наступало время принимать лекарства. Их Гасу вливали вместе с жидким питанием через гастростому — пластиковую трубку, исчезавшую в его животе. На некоторое время он становился тихим, отключался. Мать хотела, чтобы Га с поспал, но он лишь отрицательно качал головой, когда она это предлагала, поэтому его, полусонного, оставляли в кресле.

Родители смотрели старое видео с Гасом и его сестрами. Девочки, наверное, были на тот момент моими ровесницами, а Гасу было лет пять. Они играли в баскетбол на подъездной аллее у другого дома, и Гас, совсем малыш, прекрасно вел мяч, будто родился с этим умением, бегая кругами вокруг смеющихся сестер. Я впервые увидела его игравшим в баскетбол.

— А у него хорошо получалось, — похвалила я.

— Видела бы ты его в старших классах, — откликнулся отец. — В первый же год уже выступал за школу.

Гас пробормотал:

— Можно мне вниз?

Мать с отцом везли кресло с Гасом по ступенькам. Кресло опасно подсакивало, но всякая опасность уже потеряла свою актуальность. Нас оставляли вдвоем. Он укладывался в кровать, и мы лежали рядом, под одеялом, я на боку, а Гас на спине, и моя голова прижималась к его костлявому плечу. Исходящее от Гаса тепло сквозь рубашку-поло грело мне кожу, мои стопы устраивали потасовки с его настоящей стопой, моя ладонь гладила его по щеке.

Когда я придвигалась к его лицу совсем близко, почти соприкасаясь носами, так, чтобы остались только его глаза, я не видела, что он болен. Мы целовались, а потом лежали рядом, слушая одноименный альбом «Лихорадочного блеска», и засыпали путаницей трубок и тел.

Проснувшись, мы раскладывали армаду подушек так, чтобы с удобством усесться на краю кровати и играть в «Подавление восстания-2: Цена рассвета». Я, естественно, играла плохо, но моя слабость была Гасу на руку. Это облегчало ему задачу умирать красиво: он прыгал под снайперскую пулю, жертвуя собой, или убивал часового, готового меня застрелить. Как он радовался, спасая меня! Он кричал: «Ты не убьешь мою девушку, международный террорист двусмысленной национальности!»

Мне в голову приходило симулировать удушье, чтобы он врезал мне под ложечку по Геймлиху;<sup>[14]</sup> может, тогда Гас избавился бы от страха, что жизнь прожита и отдана без всякой пользы. Но первую мысль сразу догоняла вторая — Гас физически не сможет с силой нажать мне под ложечку, придется признаваться, что это была военная хитрость, и дело кончится невыносимым обоюдным унижением.

«Чертовски трудно сохранять достоинство, когда восходящее солнце слишком ярко в твоих угасающих глазах», — думала я, пока мы охотились на плохих парней в развалинах несуществующего города.

Наконец входил отец и уносил Гаса наверх. В дверях, под ободрением, заверявшим, что дружба вечна, я опускалась на колени поцеловать его на ночь, после чего ехала домой и ужинала с родителями, оставляя Гаса съесть (и выташнивать) свой ужин.

Посмотрев телевизор, я леглась спать.

Утром я просыпалась.

Около полудня я снова приезжала к Гасу.

## Глава 17

Однажды утром, через месяц после возвращения из Амстердама, я подъехала к дому Гаса. Родители сказали, что он спит внизу, поэтому я громко постучала в дверь цокольного помещения и позвала:

— Гас?

Я нашла его бормочущим на языке собственного изобретения. Он намочил постель. Это было ужасно. Я даже смотреть не могла. Я закричала его родителям, они спустились, а я поднялась наверх, пока они его мыли.

Когда я спустилась снова, он медленно приходил в себя от обезболивающих перед новым мучительным днем. Я обложила его подушками, чтобы поиграть в «Подавление восстания» на голом, без простыней, матрасе, но он так устал и плохо воспринимал происходящее, что делает, что лажал почти так же, как я, и каждые пять минут нас убивали. Никаких героических смертей, только глупые.

Я ничего ему не говорила. Мне почти хотелось, чтобы он забыл о моем присутствии. Я надеялась, что он не помнит, как я нашла любимого человека невменяемым, лежащим в огромной луже собственной мочи. Я надеялась, что он посмотрит на меня и спросит:

— О-о, Хейзел Грейс, что ты тут делаешь?

Но к сожалению, он все помнил.

— С каждой минутой я все глубже понимаю значение фразы «смертельное унижение», — сказал он наконец.

— Я не раз писалась в постель, Гас, поверь мне. Подумаешь, большое дело.

— Раньше ты... — начал он и резко, болезненно вздохнул, — ...звала меня Огастус.

— Я знаю, — продолжил он спустя несколько минут, — это щенячье ребячество, но я всегда надеялся, что мой некролог будет во всех газетах, потому что к концу жизни мне будет чем гордиться. Меня не покидало тайное подозрение, что я особенный.

— Ты и есть особенный, — заявила я.

— Ну, ты же понимаешь, о чем я говорю, — произнес он.

Я прекрасно понимала, просто не соглашалась.

— Мне все равно, появится мой некролог в «Нью-Йорк таймс» или нет, лишь бы ты его написал, — сказала я Гасу. — Ты говоришь, ты не особенный, потому что о тебе не знает мир, но это же оскорбление для меня. Я о тебе знаю!

— Вряд ли я столько протяну, чтобы написать твой некролог, — ответил он вместо извинений.

Я была подавлена и расстроена из-за него.

— Я хочу заменить тебе все, но не могу. Только этого тебе всегда будет мало. Однако это все, что у тебя есть, — я, твоя семья и этот мир. Это твоя жизнь. Жаль, если все это плохонькое и кривенькое, но уж какое есть. Ты не станешь первым, кто ступит на Марс, и не будешь звездой НБА, и не выловишь последних нацистов. Посмотри на себя, Гас. — Он не ответил. — Я не говорю, что...

— Нет, как раз это ты и говоришь, — перебил Огастус. Я начала извиняться, но он сказал: — Нет, это ты меня прости. Ты права. Давай просто играть.

И мы просто играли.

## Глава 18

Я проснулась от песни «Лихорадочного блеска», которую Гас предпочитал всем прочим. Значит, звонил он или кто-то другой с его телефона. Я посмотрела на будильник: два тридцать пять ночи. «Умер», — мелькнула мысль, и все во мне взорвалось черной дырой одиночества.

Я едва выдавила:

— Алло?

И замерла в ожидании аннигилирующего голоса кого-либо из его родителей.



— Хейзел Грейс, — слабо сказал Огастус.

— Слава Богу!.. Привет. Привет. Я тебя люблю.

— Хейзел Грейс, я на бензозаправке. Со мной что-то творится. Помоги мне.

— Что? Где ты?

— Скоростное шоссе на Восемьдесят шестой и Дитч. Я что-то сделал с гастростомой, не могу разобраться что, и...

— Я звоню в «девять-один-один», — перебила я.

— Нет-нет-нет-нет, они заберут меня в больницу. Хейзел, слушай меня. Не звони туда и моим родителям тоже. Я тебя в жизни не прощу. Не звони, пожалуйста, просто приезжай, пожалуйста, приезжай и поправь эту чертову гастростому. Блин, Боже, ну глупейшая ситуация. Не хочу, чтобы родители знали, что я уехал. Пожалуйста! Все лекарства с собой, я только ввести их не могу. Пожалуйста. — Он уже плакал. Я никогда не слышала, чтобы он так рыдал где-нибудь, кроме Амстердама.

— Ладно, — сказала я. — Выезжаю.

Я сняла маску ИВЛ, вставила в ноздри канюлю, открыла подачу кислорода, положила баллон на тележку и надела кроссовки, очень подходящие к розовым пижамным штанам и футболке с баскетболистом Батлером, которую раньше носил Гас. Я взяла ключи из выдвижного ящика на кухне, где их держала мама, и написала записку на случай, если родители проснутся, пока меня не будет.

Поехала проверить, как там Гас. Это важно. Извините.

Я вас люблю. Хейзел.

Пока я ехала пару миль до заправки, я проснулась достаточно, чтобы удивиться, отчего это Га с уехал из дома посреди ночи. Может, у него начались галлюцинации или в нем разыгрались фантазии о мученичестве за правое дело?

Я мчалась по Дитч-роуд, пролетая на желтый свет и превышая скорость — в основном чтобы скорее добраться к Гасу, но отчасти в надежде, что меня остановят полицейские и у меня появится уважительная причина рассказать, что мой умирающий бойфренд застрял у бензозаправки из-за отказавшей гастростомы. Но ни один полицейский мне не попался. Решение предстояло принимать самой.

\* \* \*

На парковке было всего две машины. Я подъехала к «тойоте» Гаса и открыла дверцу. Внутри загорелся свет. Огастус сидел за рулем, покрытый собственной рвотой, схватившись за живот, откуда выходила гастростома.

— Привет, — промямлил он.

— О Боже, Огастус, тебе обязательно надо в больницу.

— Пожалуйста, хоть посмотри!

Давясь от запаха рвоты, я нагнулась и осмотрела живот, где чуть выше пупка хирурги вывели гастростому. Кожа вокруг трубки была горячая и ярко-красная.

— Гас, боюсь, это какая-то инфекция, мне этого не поправить. Ты почему здесь? Чего тебе дома не сидится? — Его снова вырвало, причем сил у него не осталось даже отвернуться. Все попало ему на колени. — Мальчик мой, — прошептала я.

— Я хотел купить сигарет, — кое-как выговорил он. — Я потерял свою пачку. Или ее у меня забрали, не знаю. Сказали, принесут мне другую, но я хотел... купить сам. Хоть одну мелочь хотел сделать сам.

Он смотрел прямо перед собой. Я тихо достала мобильный и опустила глаза, чтобы вызвать «скорую».

— Прости меня, — сказала я Гасу. «Девять-один-один, какая у вас проблема?» — Здравствуйте, я на скоростном шоссе у Восемьдесят шестой и Дитч, срочно нужна «скорая». У самой большой любви моей жизни отказала гастростома.

Он поднял на меня глаза. Это было ужасно. Я с трудом заставляла себя глядеть на него. Огастус Уотерс, улыбавшийся уголком губ и сосавший незажженные сигареты, исчез; вместо него в машине сидело отчаявшееся, униженное создание.

— Вот и все. Я даже курить больше не могу.

— Гас, я люблю тебя.

— Где же мой шанс стать для кого-нибудь Питером ван Хутеном? — Он слабо ударил по рулю, и в тишине прозвучал резкий сигнал. Гас заплакал. Он откинул голову назад и уставился на потолок. — Ненавижу себя, ненавижу себя, ненавижу все это, ненавижу все это, я сам себе противен, ненавижу это, ненавижу, ненавижу, давайте, блин, мне умереть спокойно!

По законам жанра, Огастусу Уотерсу полагалось до конца сохранять чувство юмора, не дрогнув ни на мгновение, а его дух должен был неукротимым орлом парить в эфире до того, как радостно слиться с миром.

Но правда была передо мной — жалкий юноша, отчаянно желающий не быть жалким, кричащий, плачущий, отравленный инфицированной гастростомой, помогающей ему оставаться в живых, но не жить.

Я вытерла ему подбородок, взяла лицо ладонями и опустилась на колени совсем рядом, чтобы видеть его глаза, которые еще жили.

— Мне очень жаль. Я хотела бы жить, как в том фильме о персах и спартанцах.

— Я тоже, — ответил он.

— Но жизнь — это не фильм, — продолжила я.

— Я знаю, — сказал он.

— Тут нет плохих парней.

— Да уж.

— Даже рак нельзя назвать плохим парнем. Рак тоже жить хочет.

— Да.

— С тобой все будет в порядке. Ладно?

Вдалеке взывала сирена «скорой».

— Ладно, — сказал Гас. Он уже терял сознание.

— Гас, обещай мне не пытаться снова уезжать. Я принесу тебе сигареты, ладно? — Он посмотрел на меня. Его глаза плавали в глазницах. — Ты должен мне обещать.

Он слабо кивнул. Глаза закрылись, голова свесилась на шее набок.

— Гас, — позвала я. — Останься со мной.

— Почитай мне что-нибудь, — попросил он, когда чертова «скорая» пронеслась мимо. В ожидании, пока они развернутся и все-таки найдут нас, я начала читать единственное, что пришло на память, — «Красную тачку» Уильяма Карлоса Уильямса.

— Как много зависит / От / Красной ручной тачки, / Блестящей / после дождя, / Стоящей / Среди белых цыплят.

Уильямс был врачом, и это произведение показалось мне чем-то вроде врачебной поэмы. Стих закончился, но «скорая» по-прежнему удалялась, поэтому я начала импровизировать.

Как много зависит, сказала я Огастусу от синего неба, разрезанного ветками деревьев, над нашими головами. Как много зависит от прозрачной гастростомы, рвущейся из чрева юноши с посиневшими губами. И как много зависит от наблюдателя Вселенной.[15]

Находясь уже в полубессознательном состоянии, он окинул меня взглядом и пробормотал:

— И ты говоришь, что не умеешь сочинять стихов?

## Глава 19

Из больницы он вернулся через несколько дней, лишенный иллюзий окончательно и безоговорочно. Боль теперь снимали непрерывным вливанием лекарств. Он насовсем переехал в гостиную — больничную кровать поставили у окна.

Это были дни пижам и почесывания отраставшей щетины, невнятных просьб и рассыпания в бесконечных благодарностях за все, что другие делали за него. Однажды днем он нетвердо указал на корзину, в которую собирали белье для стирки, стоявшую в углу комнаты, и спросил меня:

— Что это?

— Корзина для стирки?

— Нет, рядом.

— Рядом с корзиной я ничего не вижу.

— Последний ошметок моего достоинства. Совсем крошечный.

На следующий день я вошла в дом не позвонив. Родителям Гаса не нравилось, когда звонят в

дверь, потому что это могло разбудить больного. В доме были сестры Гаса со своими мужьями, служившими в банках, и тремя детьми, мальчиками, которые подбежали ко мне и выпалили на три голоса: ты кто, ты кто, ты кто? — нарезая круги вокруг половичка. Можно подумать, емкость легких — возобновляемый ресурс. Сестер Гаса я уже видела, но с их мужьями и потомством пока не встречалась.

— Я Хейзел, — ответила я.

— У Гаса есть подружка, — сказал один из мальчиков.

— Я знаю, что у Гаса есть подружка, — согласилась я.

— У нее сиси, — поведал другой.

— Ты мне льстишь.

— А это зачем? — спросил первый, указывая на тележку с кислородным баллоном.

— Это помогает мне дышать, — объяснила я. — Гас проснулся?

— Нет, он спит.

— Он умирает, — сказал второй мальчишка.

— Он умирает, — подтвердил третий, вдруг став серьезным. Мгновение было тихо — я не знала, какой реплики от меня ждут, но затем один пнул второго, и они снова принялись носиться, падая друг на друга кучей-малой, которая постепенно мигрировала к кухне.

Я пошла в гостиную, где пришлось знакомиться с зятьями Гаса, Крисом и Дейвом.

Я не очень близко знала его сводных сестер, но они меня крепко обняли. Джули сидела на краешке кровати, разговаривая со спящим Гасом воркующим голосом, каким принято заверять младенца, что он хорошенький:

— Гасси-Гасси, наш маленький Гасси-Гасси...

«Наш» Гасси? Они его что, купили?

— Что случилось, Огастус? — спросила я, демонстрируя подобающее поведение специально для его сестер.

— Наш прелестный Гасси, — сказала Марта, склоняясь над ним. В меня закралось сомнение, спит ли Гас или изо всех сил вдавливая пальцем кнопку обезболивающего, избегая нашествия сестер, хотевших как лучше.

Через некоторое время он проснулся, и первое, что сказал, было «Хейзел». Я невольно обрадовалась: получалось, будто я тоже часть его семьи.

— На улицу, — тихо попросил он. — Можно пойти?

Мы пошли. Мать везла кресло, а сестры, зятья, отец, племянники и я тащились позади. День был пасмурный, тихий и жаркий — июль, макушка лета. Гас был одет в темно-синюю фуфайку и флисовые спортивные брюки. Отчего-то он все время мерз. Он захотел пить, и отец принес ему воды.

Марта попыталась вовлечь Гаса в разговор, опустившись рядом с ним на колени.

— У тебя всегда были такие красивые глаза!



Он едва кивнул. Один из зятьев положил руку на плечо Гасу:

— Ну как тебе на свежем воздухе?

Гас пожал плечами.

— Дать тебе лекарств? — спросила мать, присоединившись к коленопреклоненному кружку, образовавшемуся вокруг Огастуса. Я отступила на шаг и смотрела, как его племянники прорвались через клумбу к клочку зеленой травы и немедленно затеяли игру, где требовалось швырять друг друга на землю.

— Дети! — слабо вскрикнула Джули. — Могу только надеяться, — сказала она, повернувшись к Гасу, — что они вырастут вдумчивыми, интеллигентными молодыми людьми, как ты.

Я подавила желание демонстративно изобразить рвотный позыв.

— Он вовсе не так уж умен, — заявила я Джули.

— Хейзел права. Большинство красавцев глупы, я всего лишь превосхожу ожидания.

— Верно, его конек прежде всего внешняя красота, — поддержала я.

— Ослепительная.

— На Айзека подействовало, — заметила я.

— Ужасная трагедия, но что я могу поделать со своей убийственной красотой?

— Ничего.

— Красивое лицо — тяжелое бремя.

— Не говоря уже о теле.

— О-о, даже не начинай о моем сексуальном теле! Ты точно не захочешь увидеть меня голым, Дейв. При виде моей наготы у Хейзел Грейс захватило дух, — похвастался Гас, кивнув на мой кислородный баллон.

— Ну-ну, хватит, — сказал отец Гаса, неожиданно обнял меня и поцеловал сбоку в волосы, прошептав: — Я каждый день благодарю за тебя Бога, детка.

Это был мой последний хороший день с Гасом до Последнего хорошего дня.

## Глава 20

Одним из чуть менее дерьмовых законов жанра детской онкологии считается конвенция Последнего хорошего дня, когда жертва нежданно-негаданно получает несколько сносных часов, будто неизбежный распад достиг плато, и боль ненадолго становится терпимой. Проблема в том, что не существует способа выяснить наверняка, просто нормальный у тебя день или это твой Последний хороший день. На первый взгляд они неотличимы.

Я взяла выходной от посещения Огастуса, потому что не очень хорошо себя чувствовала: ничего особенного, просто устала. День я провела в блаженной лени, и когда Огастус

позвонил в начале шестого, я уже была подключена к ИВЛ, который мы перенесли в гостиную, чтобы я смогла посмотреть телевизор с мамой и папой.

— Привет, Огастус, — сказала я.

Он ответил тоном, на который я когда-то запала:

— Добрый вечер, Хейзел Грейс. Сможешь часам к восьми подъехать буквально в сердце Иисуса?

— Ну да, наверное.

— Превосходно. Приготовь надгробное слово, если нетрудно.

— Хм, — протянула я.

— Я люблю тебя, — сказал он.

— И я тебя, — ответила я. В телефоне с щелчком положили трубку.

— Хм, — обратилась я к родителям. — Мне надо подъехать к восьми в группу поддержки. Экстренное собрание.

Мама выключила у телевизора звук.

— Что-нибудь случилось?

Я смотрела на нее секунду, подняв брови.

— Я так понимаю, вопрос риторический?

— Но для чего же экстренное...

— Потому что я зачем-то нужна Гасу. Не беспокойся, я сама съезжу. — Я неловко ворочала маску ИВЛ, ожидая, что мама поможет мне ее снять, но она не помогла.

— Хейзел, — сказала она, — мы с отцом тебя практически не видим.

— Особенно некоторые, кто работает всю неделю, — добавил папа.

— Я ему нужна, — объяснила я, наконец выпутавшись из маски сама.

— Детка, но и нам ты тоже нужна, — заметил папа, взяв меня повыше кисти, будто упрямящуюся двухлетку, которая хочет выбежать на проезжую часть.

— Ну что ж, пап, заполучи рак в терминальной стадии, и будем чаще видеться.

— Хейзел! — воскликнула мама.

— Ты сама не хотела, чтобы я сидела дома, — напомнила я. Папа по-прежнему сжимал мне руку. — А теперь хочешь, чтобы он побыстрее умер, чтобы я снова была прикована к дому и ты могла бы обо мне заботиться, как я тебе всегда позволяла. Но мне этого не нужно, мама, и ты мне не нужна, как раньше. Это тебе надо начать нормальную жизнь!

— Хейзел! — Папа крепче сжал мою руку. — Извинись перед матерью!

Я вырывала руку, но он не отпускал, и я не могла дотянуться до канюли. Это бесило, как никогда. Все, чего мне хотелось, — старого доброго подросткового бунта, чтобы с топотом выйти из комнаты и грохнуть дверь, а затем включить «Лихорадочный блеск» и яростно писать надгробную речь. А я не могла, потому что не могла, блин, дышать.

— Канюля, — взвыла я. — Кислород!

Папа немедленно меня отпустил и кинулся открывать баллон. Я видела вину в его глазах, но он по-прежнему был рассержен.

— Хейзел, извинись перед матерью.

— Отлично, извиняюсь, только сегодня мне не мешайте.

Они ничего не сказали. Мама сидела, скрестив руки на груди, не глядя на меня. Через некоторое время я поднялась и ушла к себе писать об Огастусе.

Мама с папой несколько раз пытались стучать ко мне в дверь или что-то спрашивать, но я отрезала, что занята важным делом. У меня ушло много времени, чтобы понять, о чем я хочу написать, и даже тогда я осталась не совсем довольна своим творением. Я еще не закончила, когда заметила, что на часах без двадцати восемь. Это значило, что я опоздаю, даже если не переоденусь, то есть поеду в голубых пижамных штанцах, шлепанцах и футболке Гаса с баскетболистом Батлером.

Я вышла из комнаты и попыталась пройти мимо родителей, но отец сказал:

— Ты не можешь никуда ехать без разрешения.

— О Боже мой, папа, он просил написать ему надгробное слово, ясно тебе? Я буду дома каждый чер-тов ве-чер с зав-траш-не-го дня, понятно?

На этом они наконец отстали.

Всю дорогу я успокаивалась после разговора с родителями. Я подъехала к церкви сзади и припарковалась на полукруглой дорожке рядом с машиной Огастуса. Задняя дверь церкви была открыта и подперта булыжником размером с кулак. Я думала спуститься по лестнице, но потом все же решила дождаться старого скрипучего лифта.

Дверцы лифта разъехались, и передо мной открылся зальчик группы поддержки. Пустые стулья были составлены в кружок, и Гас в инвалидном кресле, чудовищно исхудалый, смотрел на меня из центра круга, ожидая, когда откроется лифт.

— Хейзел Грейс, — сказал он. — Ты потрясающе выглядишь.

— Я знаю, понял?

Из дальнего угла послышался шорох. Айзек стоял у небольшой деревянной конторки, держась за нее обеими руками.

— Хочешь сесть? — спросила я Айзека.

— Нет, я собирался начать свое надгробное слово. Опаздываешь.

— Ты... Я... Что?

Гас жестом пригласил меня присесть. Я вытянула стул в центр кружка и села. Гас вместе с креслом повернулся к Айзеку.

— Я хочу побывать на своих похоронах, — сказал он. — Кстати, ты будешь говорить на моих похоронах?

— Да, конечно, — ответила я, положив голову ему на плечо. Скользнув рукой по спине, я обняла Гаса и боковину инвалидного кресла. Гас вздрогнул. Я тут же убрала руку.

— Прекрасно, — обрадовался он. — Я надеюсь все услышать в качестве призрака, но на всякий случай решил убедиться. Не хотел причинять вам неудобств, но не далее чем сегодня я подумал, что ведь можно провести репетицию похорон, и решил, раз уж я в довольно бодром настроении, не ждать другого раза.

— Как ты сюда прошел? — спросила я.

— Поверишь, что двери не запирают на ночь? — вопросом на вопрос ответил Гас.

— Не поверю, — сказала я.

— Правильно не веришь, — улыбнулся Гас. — Я, конечно, понимаю, что это немного отдает самовозвеличиванием...

— Эй, ты крадешь мое надгробное слово! — возмутился Айзек. — Первая часть как раз о том, что ты много о себе мнил!

Я засмеялась.

— Ладно, ладно, — сказал Гас. — Начинай, когда захочется.

Айзек откашлялся.

— Огастус Уотерс много о себе мнил и грешил самовозвеличиванием. Но мы его прощаем. Мы прощаем его не потому, что сердце у него было настолько золотое в фигуральном смысле, насколько не фурычило его настоящее, или потому что он умел держать сигарету лучше, чем любой другой некурящий за всю историю, или потому, что он прожил всего восемнадцать лет...

— Семнадцать, — поправил Гас.

— Этим я намекаю, что ты еще поживешь, балда, и не перебивай! — И Айзек продолжал: — Огастус Уотерс так много говорил, что перебил бы вас и на собственных похоронах. Он был претенциозен. Иисусе сладчайший, этот парень отлить не мог без того, чтобы не задуматься о многочисленных метафорических резонансах выработки человеческих отходов. Он был тщеславен: я еще не встречал красивого человека, который осознавал бы свою физическую привлекательность острее, чем Огастус Уотерс. Но я скажу вам вот что: когда в будущем в мой дом придут ученые и предложат мне вставить электронные глаза, я пошлю подальше этих гадов вместе с их гаджетами, потому что не хочу видеть мир без Огастуса Уотерса.

При этих словах я всплакнула.

— После такого заявления я, конечно, вставлю себе электронные глаза, потому что с ними, наверное, можно будет видеть девушек сквозь одежду и много чего другого. Огастус, друг мой, счастливого тебе пути.

Огастус часто закивал, сжав губы, и показал Айзеку оба больших пальца. Справившись с собой, он добавил:

— Я бы выкинул место о разглядывании женщин сквозь одежду.

Айзек, по-прежнему держась за конторку, заплакал, прижавшись к ней лбом. Я смотрела, как вздрагивают его плечи. Наконец он сказал:

— Черт тебя побери, Огастус! Редактируешь собственное надгробное слово!

— Не сквернословь буквально в сердце Иисуса, — велел Гас.

— Черт бы все побрал, — снова возмутился Айзек. Он поднял голову и сглотнул. — Хейзел, можно твою руку?

Я забыла, что он сам не ориентируется. Я подошла, положила его руку себе на локоть и медленно повела к моему стулу рядом с Гасом; потом я поднялась на трибуну и развернула листок бумаги с распечаткой надгробного слова своего сочинения.



— Меня зовут Хейзел. Огастус Уотерс был величайшей любовью моей жизни, предначертанной свыше и свыше же и оборванной. У нас была огромная любовь. Не могу сказать о ней больше, не утонув в луже слез. Гас знал. Гас знает. Я не расскажу вам об этом, потому что, как каждая настоящая любовь, наша умрет вместе с нами. Я рассчитывала, это Гас будет говорить по мне надгробное слово, потому что никого другого... — Я начала плакать. — Ну да, как не заплакать. Как я могу... Ладно. Ладно. — Глубоко подышав, я вернулась к листку: — Я не могу говорить о нашей любви, поэтому буду говорить о математике. Я не очень в ней сильна, но твердо знаю одно: между нулем и единицей есть бесконечное множество чисел. Есть одна десятая, двенадцать сотых, сто двенадцать тысячных и так далее. Конечно, между нулем и двойкой или нулем и миллионом бесконечное множество чисел больше — некоторые бесконечности больше других бесконечностей. Этому нас научил писатель, который нам раньше нравился. Есть дни, много дней, когда я чувствую обиду и гнев из-за размера моей персональной бесконечности. Я хочу больше времени, чем мне, вероятно, отмерено, и, о Боже, я всей душой хотела бы больше дней для Огастуса Уотерса, но, Гас, любовь моя, не могу выразить, как я благодарна за нашу маленькую бесконечность. Я не променяла бы ее на целый мир. Ты дал мне вечность за считанные дни. Спасибо тебе.

## Глава 21

Огастус Уотерс умер через восемь дней после репетиции своих похорон в отделении интенсивной терапии больницы «Мемориал», когда состоявший из него рак наконец остановил сердце, тоже состоящее из него.

Он был со своей матерью, отцом и сестрами. Миссис Уотерс позвонила мне в полчетвертого утра. Конечно, я знала, что он уходит — накануне вечером я говорила с его отцом, и он сказал: «Это может случиться сегодня», — но все равно, когда я схватила мобильный с тумбочки и увидела на экране «Мама Гаса», у меня внутри все оборвалось. Она плакала

навзрыд и повторяла: «Мне очень жаль», — и я ответила то же самое, и она сказала, что он был без сознания около двух часов, прежде чем наступила смерть.

Вошли мои родители с выжидательным видом, я кивнула, и они упали друг другу в объятия, охваченные, не сомневаюсь, гармоническим ужасом, который со временем напрямую коснется и их.

Я позвонила Айзеку, который проклял жизнь, вселенную и самого Бога и спросил, где чертовы призы для битвы, сейчас бы они, как никогда,годились. После этого я вдруг поняла, что позвонить больше некому, и это было печальнее всего. Единственный, с кем я хотела говорить о смерти Огастуса Уотерса, был сам Огастус Уотерс.

Родители оставались в моей комнате целую вечность, пока не рассвело, и наконец папа спросил:

— Ты хочешь побыть одна?

Я кивнула, и мама сказала:

— Мы будем за дверью.

«Кто бы сомневался», — подумала я.

Это было невыносимо. Каждая секунда хуже предыдущей. Мне страшно хотелось ему позвонить и посмотреть, что получится, кто ответит. За последние недели нам сократили время, которое мы проводили вместе в воспоминаниях, но это, оказывается, было еще ничего. Я лишилась удовольствия помнить, потому что не осталось того, на пару с кем можно помнить. Потерять человека, с которым тебя связывают воспоминания, все равно что потерять память, будто все, что мы делали, стало менее реальным и важным, чем несколько часов назад.

Когда попадаешь в реанимацию, тебя первым делом просят оценить боль по десятибалльной шкале и на основании этого решают, какие лекарства дать и какую дозу. За несколько лет меня об этом спрашивали сотни раз, и, помню, однажды, в самом начале болезни, когда я не могла вздохнуть и мне казалось, что у меня в груди огонь, пламя лижет ребра, грозя выжечь изнутри все тело, я даже не могла говорить и только показала девять пальцев.

Позже, когда мне что-то дали, подошла медсестра. Меряя мне давление, она погладила меня по руке и сказала:

— Знаешь, а ты настоящий борец. Ты оценила десятку всего лишь девяткой.

Это было не совсем так. Я оценила боль в девять баллов, приберегая десятку на худший случай. И сейчас он наступил. Непомерная, чудовищная десятка обрушивалась на меня снова и снова, пока я неподвижно лежала на кровати и смотрела в потолок, а волны швыряли меня о скалы и оттаскивали в море, чтобы вновь запустить в иззубренное лицо утеса и оставить на воде лицом вверх, не утонувшую.

Наконец я ему все-таки позвонила. На пятом звонке включился автоответчик: «Вы позвонили Огастусу Уотерсу, — раздался звучный голос, из-за которого я в свое время с ходу влюбилась в Гаса. — Оставьте сообщение». Раздался писк. Мертвый эфир на линии казался сверхъестественно жутким. Я позвонила, чтобы снова попасть в то тайное, неземное, третье пространство, в котором мы всякий раз оказывались, болтая по телефону, и ожидала знакомого ощущения, но оно не появлялось. Мертвый эфир на линии ничего не облегчал, поэтому вскоре я положила трубку.

Я достала из-под кровати ноутбук, включила и зашла на страницу Гаса. На стенке было уже много соблезнований. Последнее гласило:

Люблю тебя, парень. Увидимся на той стороне.

Написано кем-то, о ком я никогда не слышала. Почти все посты, прибывавшие одновременно с теми, что я успевала прочитать, были от людей, с которыми я не была знакома и о которых он никогда не говорил. Они превозносили его достоинства теперь, когда он был мертв, притом что я знала наверняка — они не видели Гаса много месяцев и палец о палец не ударили, чтобы его навестить. Неужели и моя стена будет так выглядеть после моей смерти, или я так давно изъята из школы и жизни, что мне не грозит масштабная меморизация?

Я продолжала читать.

Мне тебя уже не хватает, брат.

Огастус, я тебя люблю. Благослови и прими тебя Господь.

Ты всегда будешь жить в наших сердцах, высоченный парень.

Это меня особенно уязвило — как намек на само собой разумеющееся бессмертие пока живых: ты будешь вечно жить в моей памяти, потому что я никогда не умру! Теперь я твой бог, мертвый юноша! Ты принадлежишь мне! Вера в собственное бессмертие — еще один побочный эффект умирания.

Ты всегда был отличным другом. Прости, что я мало тебя видел, когда ты перестал ходить в школу. Спорю, ты уже играешь в мяч в раю.

Я представила, как Огастус Уотерс анализирует этот комментарий: если я играю в футбол в раю, значит ли это, что в физическом местонахождении рая есть физические баскетбольные мячи? Кто их там делает? Значит, в раю есть души второго сорта, которые работают на небесной фабрике баскетбольных мячей, чтобы я мог играть? Или всемогущий Создатель сотворяет мячи из космического вакуума? Является ли такой рай некой вселенной без наблюдателя, где неприменимы законы физики, и если так, почему, черт побери, я должен играть в баскетбол, когда я могу летать, или читать, или рассматривать красивых людей — словом, заниматься тем, что мне на самом деле нравится? Твои, приятель, представления о моей загробной жизни скорее говорят много интересного о тебе, чем о том, кем я был и кем стал.

Его родители позвонили мне около полудня сказать, что похороны будут через пять дней, в субботу. Я представила церковь, наполненную людьми, которые думали, что он любил баскетбол, и меня затошнило, но я знала, что должна пойти, потому что обещала Гасу сказать речь, и вообще. Нажав отбой, я продолжила читать посты на стенке Гаса.

Только что узнал, что Гас Уотерс умер после продолжительной борьбы с раком. Покойся с миром, приятель.

Я знала, что все эти люди искренне опечалены и что на самом деле я злюсь не на них, я злюсь на вселенную, но все равно подобные сентенции меня бесили. Масса друзей объявляется, когда друзья тебе больше не нужны. Я написала ответ на этот комментарий:

Мы живем во вселенной, где все подчинено созданию и искоренению сознания. Огастус Уотерс умер не после продолжительной борьбы с раком. Он умер после продолжительной борьбы с человеческим сознанием, пав жертвой — как, возможно, однажды падешь и ты — привычки вселенной собирать и разбирать все, что можно.

\* \* \*

Я отправила сообщение и подождала ответов, несколько раз обновляя страницу. Ничего. Мое замечание уже потонуло в снежной метели новых постов. Все обещали смертельно по нему тосковать. Все молились за его семью. Я вспомнила письмо ван Хутена: писанина не воскрешает, она хоронит.

Некоторое время спустя я вышла в гостиную посидеть с родителями и посмотреть телевизор. Не скажу с уверенностью, что это была за передача, но в какой-то момент мама спросила:

— Хейзел, что мы можем сделать для тебя?

Я лишь покачала головой, снова заплакав.

— Что мы можем сделать? — повторила мама.

Я пожала плечами.

Но она продолжала спрашивать, как будто действительно могла что-то сделать, наконец я переползла по дивану ей на колени, и папа подошел и крепко-крепко обнял мои ноги, и я обхватила маму за талию и уткнулась ей в живот, и так они держали меня несколько часов, пока прилив не начал спадать.

## Глава 22

Когда мы пришли туда, я села в дальнем углу зала прощаний, маленького помещения с голыми каменными стенами сбоку от церкви с буквальным Иисусовым сердцем. В комнате было стульев восемьдесят, две трети из них были заняты, но одна треть пустовала.

Некоторое время я просто смотрела, как люди подходят к гробу, стоявшему на каких-то носилках с колесиками, покрытых фиолетовой скатертью. Все эти люди, которых я видела впервые в жизни, опускались на колени или стояли и некоторое время смотрели на него, может, плача, может, что-то шепча, и каждый касался гроба, вместо того чтобы коснуться Гаса, потому что кому же хочется трогать покойника.

Мать и отец Гаса стояли у гроба, обнимая каждого отходившего, но когда они заметили меня, то улыбнулись и подошли сами. Я встала и обняла сперва отца, а потом мать, которая сильно, как делал Гас, сжала мои лопатки. Они сильно постарели — глаза ввалились, кожа обвисла на измученных лицах. В них уже не осталось сил преодолевать препятствия.

— Он тебя так любил, — сказала мама Гаса. — Любил по-настоящему. Это была не подростковая влюбленность, ничего подобного, — добавила она, будто я без нее не знала.

— Он и вас очень любил, — тихо ответила я. Трудно объяснить, но этот разговор оставлял ощущение, будто сама и наносишь, и получаешь болезненные раны. — Мне очень жаль.

После этого родители Гаса говорили с моими родителями — разговор преимущественно

состоял из кивков и поджатых губ. Я посмотрела на гроб, увидела, что возле дрог никого нет, и решила подойти. Я вынула канюлю из ноздрей и сняла через голову, отдав трубку папе. Я хотела побыть с Гасом один на один. Взяв свою маленькую сумочку, я пошла по проходу между рядами стульев.

Путь показался очень длинным, но я повторяла своим легким заткнуться, доказывая, что они сильные и выдержат. Я видела его, подходя. Его волосы были аккуратно расчесаны на пробор на левую сторону — от такой прически он бы ужаснулся, лицо пластифицировано, но это по-прежнему был Гас. Мой длинный тощий красивый Гас.

Я хотела надеть маленькое черное платье, купленное для пятнадцатого дня рождения и назначенное моей смертной одеждой, но теперь оно было мне слишком велико, поэтому я надела простое черное платье до колен. Огастус лежал в костюме с щегольски узкими лацканами, который надевал в «Оранже».

Опустившись на колени, я поняла, что ему опустили веки — как же иначе — и я никогда больше не увижу его голубых глаз.

— Я люблю тебя. В настоящем времени, — прошептала я и положила руку ему на грудь. — Ладно, Гас. Ладно. Слышишь меня? Ладно. — У меня не было и нет уверенности, что он меня слышал. Я наклонилась и поцеловала его в щеку. — Ладно, — сказала я. — Ладно.

Я вдруг поняла, что на нас все смотрят — в последний раз на нас было обращено столько взглядов, когда мы целовались в доме Анны Франк. Хотя, строго говоря, смотреть на нас было уже нельзя — нас не осталось. Только я.

Я резко открыла клатч, сунула руку внутрь и достала твердую пачку «Кэмел лайтс». Быстрым движением, надеясь, что никто не заметит, я сунула сигареты между Гасом и мягкой серебристой обивкой гроба.

— Эти можешь прикуривать, — прошептала я. — Я возражать не стану.



Пока я с ним говорила, мама с папой пересели с моим баллоном во второй ряд, так что далеко идти не пришлось. Папа подал мне платок, когда я села. Я высморкалась, заправила трубки за уши и вставила канюли в ноздри.

Я думала, похороны будут в центральном нефе церкви, но все ограничилось боковым приделом — буквальной рукой Иисуса (мы сидели примерно в той части, где к кресту было пригвождено его запястье). Священник, поднявшись на помост, встал за гробом, будто гроб был кафедрой или амвоном, и немного рассказал о том, как Огастус вел отважный бой и как его героизм перед лицом болезни должен всем нам служить примером. Я уже начала закипать, когда священник заявил:

— В раю Огастус наконец будет здоровым и целым.

Видимо, намекал, что Гас был малоценнее остальных из-за того, что ему отняли ногу. Я не смогла подавить вздох отвращения. Папа схватил меня над коленом и сжал, укоризненно глядя, но с третьего ряда кто-то сказал почти вслух и почти у меня над ухом:

— Что за фигню он бормочет, да, детка?

Я резко обернулась.

Питер ван Хутен сидел в белом льняном костюме, скроенном с учетом его шарообразных форм, в светло-голубой рубашке и зеленом галстуке. Вырядился, будто не на похороны, а для колониальной оккупации Панамы. Священник призвал собравшихся помолиться, и все наклонили головы, но я с отвисшей челюстью продолжала смотреть на Питера ван Хутена при всем параде. Через секунду он прошептал:

— Давай все же помолимся.

И наклонил голову.

Я попыталась забыть о нем и молиться об Огастусе. Я обещала себе слушать священника и не оглядываться.

Священник пригласил Айзека, который держался гораздо серьезнее, чем на репетиции похорон.

— Огастус Уотерс был мэром тайного города Канцервании, его никем не заменить, — начал Айзек. — Другие люди вспомнят о Гасе что-нибудь забавное, потому что он был большим приколистом, но позвольте мне сказать о серьезном. На следующий день после того как мне удалили второй глаз, Гас пришел в больницу. Я, слепой, с разбитым сердцем, ничего не хотел, но Гас влетел в мою палату и крикнул: «У меня отличная новость!» Я ответил, что не желаю в такой день слушать хорошие новости, но Га настаивал: «Эту новость ты захочешь выслушать». Я сказал: ну ладно, выкладывай — и он выдал: «Ты проживешь долгую жизнь, полную прекрасных и ужасных мгновений, которые ты себе даже представить не можешь!»

Продолжать Айзек не смог. А может, это было все, что он написал.

После него школьный приятель рассказал пару эпизодов о ярком баскетбольном таланте Гаса и его прекрасных качествах как игрока команды. Наконец священник сказал:

— А сейчас послушаем особого друга Огастуса, Хейзел.

Особого друга? Это вызвало смешки аудитории, поэтому я сочла за лучшее встать и сказать священнику:

— Я была его девушкой.

В зале засмеялись. Затем я начала читать надгробное слово.

— В доме Гаса есть замечательная цитата из Библии, которую и он, и я находили весьма утешающей: «Без боли как бы познали мы радость?»...

В таком духе я пару минут распространялась насчет идиотских ободрений, а родители Гаса держались за руки, обнимали друг друга и кивали на каждом слове. Похороны, решила я, все-таки для живых.

Потом выступила его сестра Джулия, и церемония прощания закончилась молитвой о воссоединении Гаса с Богом. Я вспомнила, как Огастус говорил мне в «Оранже», что не верит в облачные замки и арфы, но верит в Нечто с большой буквы «н». Пока длилась молитва, я пыталась его представить в таинственном Где-то с большой буквы, но тщетно убеждала себя, что когда-нибудь мы с ним снова будем вместе. Я знаю много умерших. Время для меня теперь течет иначе, чем для него. Я, как и все присутствующие, буду накапливать потери и привязанности, а он уже нет. Окончательной и невыносимой трагедией для меня стало то, что, как все бесчисленные мертвые, Гас раз и навсегда разжалован из мыслящего в мысль.

Когда один из его зятьев внес бумбокс и поставил песню, которую выбрал Гас, — печальную спокойную композицию «Лихорадочного блеска» под названием «Новый напарник», — мне, ей-богу, захотелось домой. Я почти никого не знала в этом зале и чувствовала, как маленькие глазки Питера ван Хутена сверлят мои обнаженные плечи. Но когда отзвучала песня, всем приглашенным понадобилось подойти ко мне и сказать, что я говорила прекрасно и служба очень красивая, что было неправдой: это была не служба, а похороны, и они ничем не отличались от любых других похорон.

Те, кто должен был нести гроб, — его кузены, отец, дядя, друзья, которых я видела впервые, подошли, подняли Гаса и направились к катафалку.

Когда мы с родителями сели в машину, я сказала:

— Не хочу ехать, я устала.

— Хейзел! — ужаснулась мама.

— Мам, там не будет места присесть, все затянется на пять часов, а я уже без сил.

— Хейзел, мы должны поехать ради мистера и миссис Уотерс, — напомнила мама.

— Знаете, что? — начала я. На заднем сиденье я отчего-то чувствовала себя совсем маленькой. Мне даже хотелось быть маленькой. Лет шести. — Прекрасно.

Некоторое время я смотрела в окно. Я действительно не хотела ехать. Я не хотела видеть, как его будут опускать в землю на участке, который он сам выбирал со своим отцом, не хотела видеть его родителей на коленях на влажной от росы земле, не хотела слышать, как они стонут от невыносимой боли, и не хотела видеть алкогольное брюхо Питера ван Хутена, натянувшее белый льняной пиджак, и не хотела плакать на глазах у стольких людей, и не хотела бросать горсть земли в его могилу, и не хотела, чтобы моим родителям пришлось стоять там, под чистым голубым небом с особым наклоном лучей полуденного солнца, думая о таком же дне, и о своем ребенке, и о моем участке на кладбище, и о моем гробе, и о моей горсти земли.

Но я все это сделала. Я сделала все это, и даже больше, потому что маме и папе казалось, что так надо.

Когда все закончилось, подошел ван Хутен и положил толстую руку мне на плечо.

— Можно попросить об одолжении? Прокатную машину я оставил у подножия холма...

Я пожала плечами, и ван Хутен открыл заднюю дверцу, едва папа отключил блокировку.

Внутри он наклонился между передними сиденьями и сказал:

— Питер ван Хутен, беллетрист в отставке и полупрофессиональный обманщик надежд.

Родители представились. Он пожал им руки. Меня немало удивило, что Питер ван Хутен пролетел полмира, чтобы присутствовать на похоронах.

— Как вы вообще... — начала я, но он меня перебил:

— Через ваш inferнальный Интернет я слежу за некрологами в Индианаполисе.

Он сунул руку за пазуху своего льняного пиджака и вытащил литровую бутылку виски.

— То есть вы просто купили билет и...

Он перебил меня снова, отвинчивая крышечку:

— Я отдал пятнадцать тысяч за билет первого класса, но у меня достаточно капитала, чтобы потакать своим причудам. Да и напитки в самолете бесплатные — при желании можно почти окупить стоимость билета.

Ван Хутен отпил виски и перегнулся вперед предложить отцу, но папа отказался.

Тогда ван Хутен наклонил бутылку ко мне. Я ее взяла.

— Хейзел, — предупредила мама, но я отвинтила крышечку и отхлебнула. В желудке стало примерно как в легких. Я отдала бутылку ван Хутену, который отпил длинный глоток и сказал:

— Итак, *omnis cellula e cellula*. [16]

— Что?

— Мы с твоим Уотерсом переписывались немного в его последние...

— Стало быть, теперь вы читаете письма от фанатов?

— Нет, он адресовал письма мне домой, не через издателя, и поклонником я бы его не назвал — он меня презирает. Однако он очень убедительно писал, что я получу прощение за свое поведение, если приеду на его похороны и скажу тебе, что случилось с матерью Анны. Вот я и приехал, а вот тебе и ответ: *omnis cellula e cellula*.

— Что? — снова спросила я.

— *Omnis cellula e cellula*, — повторил он. — Все клетки происходят из клеток. Каждая клетка рождается от предыдущей, которая, в свою очередь, родилась от своей предшественницы. Жизнь происходит от жизни. Жизнь порождает жизнь, порождает жизнь, порождает жизнь...

Мы доехали до подножия холма.

— Ладно, хорошо, — прервала я. У меня не было настроения это выслушивать. Питер ван Хутен не присвоит себе главную роль на похоронах Гаса, я этого не позволю. — Спасибо. По-моему, холм как раз закончился.

— И ты не хочешь объяснений? — удивился он.

— Нет, — отрезала я. — Обойдусь. Я считаю вас жалким алкоголиком, который говорит умности, чтобы привлечь к себе внимание, как не по годам развитый одиннадцатилетний сопляк, и мне за вас невыносимо стыдно. Да-да, вы уже не тот человек, который написал «Царский недуг», и сиквел вы не осилите, даже если возьметесь. Ценю, что попытались. Всего вам распронаилучшего!

— Но...

— Спасибо за виски, — сказала я. — А теперь выметайтесь из машины.

Он явно присмирел. Папа остановился, и мы подождали, не выключая мотора, стоя ниже могилы Гаса, пока ван Хутен открыл дверь и, наконец-то замолчав, вылез.

Когда мы отъезжали, я смотрела через заднее стекло, как он отпил виски и поднял бутылку в моем направлении, словно выпив за меня. Его глаза были очень грустными. Мне даже стало его жаль, честно говоря.

Домой мы попали около шести. Я была уже без сил. Мне хотелось только спать, но мама заставляла меня поесть какой-то пасты с сыром, в итоге она разрешила мне съесть ее в кровати. Пару часов я проспала с ИВЛ. Пробуждение было ужасным: секунду мне казалось, что все хорошо, но в следующий миг случившееся обрушилось на меня заново. Мама отключила меня от ИВЛ, я впряглась в переносной баллон и поплелась в ванную чистить зубы.

Оценивая себя в зеркале и возя щеткой по зубам, я думала, что существуют два типа взрослых. Есть ван хутены — жалкие создания, которые рыскают по земле, ища, кого побольнее задеть. А есть такие, как мои родители, — ходят, как зомби, и автоматически делают все, что надо делать, чтобы продолжать ходить.

Ни то ни это будущее мне не нравилось. Во мне крепло убеждение, что все чистое и хорошее в мире я уже видела, и я начала подозревать, что даже если бы смерть не встала на пути, такая любовь, как у нас с Огастусом, долго бы не продлилась. На смену рассвету приходит день, как писал Фрост. Золото не вечно.

В дверь ванной постучали.

— *Oscupada*[17], — сказала я.

— Хейзел, — позвал папа, — можно, я войду? — Я не ответила, но через несколько секунд отперла дверь и присела на опущенное сиденье унитаза. Почему дыхание должно быть такой нелегкой работой? Папа опустился на колени рядом со мной, взял мою голову и, прижав к своей груди, произнес: — Мне очень жаль, что Гас умер. — Я немного задыхалась, уткнувшись носом в его футболку, но мне было хорошо от крепких объятий и знакомого

папиного запаха. Казалось, он почти сердится, но мне это пришлось по душе. Я и сама была на взводе. — Сволочизм какой, от начала до конца. Восемьдесят процентов выживания, а он попал в оставшиеся двадцать. Гадство. Такой прекрасный мальчик! Как несправедливо... Но ведь любить его — немалая привилегия, правда?

Я кивнула в папину футболку.

— Теперь ты имеешь представление о том, как я люблю тебя, — прошептал папа.

Дорогой мой старичок. Всегда-то он знает, что сказать.

## Глава 23

Пару дней спустя я встала с постели около полудня и поехала к Айзеку. Дверь он открыл сам.

— Мама повезла Грэма в кино, — сказал он.

— Нам надо куда-нибудь сходить или чем-то заняться, — заявила я.

— Может «что-то» означать сразиться в видеоигру со слепым, сидя на диване?



— Вот именно это я и имела в виду.

Мы сидели пару часов, разговаривая с экраном и пробираясь в невидимом подземном лабиринте без единого огонька. Самой увлекательной частью игры было издеваться над компьютером, неизменно попадавшим впросак.

Я: Коснись стены пещеры.

Компьютер: Вы касаетесь стены пещеры. Она влажная.

Айзек: Лизни стену пещеры.

Компьютер: Не понимаю. Повторите.

Я: Трахни влажную стену пещеры.

Компьютер: Вы пытаетесь прыгнуть через стенку пещеры. Вы ударяетесь головой.

Айзек: Не прыгни, а трахни!

Компьютер: Не понимаю.

Айзек: Чувак, я неделями брожу в темноте по лабиринту, мне нужна разрядка. Трахни стену пещеры!

Компьютер: Вы пытаетесь пры...

Я: Резко прижми низ живота к стенке пещеры.

Компьютер: Не понима...

Айзек: Займись с пещерой нежной любовью.

Компьютер: Не понима...

Я: Прекрасно. Иди влево.

Компьютер: Вы идете влево. Проход сужается.

Я: Иди на четвереньках.

Компьютер: Вы идете на четвереньках сотню ярдов. Проход сужается.

Я: Ползи, как змея.

Компьютер: Вы ползете по-змеиному тридцать ярдов. По вашему телу стекает струйка воды. Путь перекрыт горкой мелких камней.

Я: Могу я теперь трахнуть пещеру?

Компьютер: Вы не можете прыгнуть из положения лежа.

Айзек: Мне не нравится жить в мире без Огастуса Уотерса.

Компьютер: Не понимаю.

Айзек: Я тоже. Пауза.

Он бросил пульт на диван между нами и спросил:

— Не знаешь, ему больно было?

— Наверняка он задыхался, — ответила я. — В конце концов потерял сознание, но, судя по всему, уходил нелегко. Умирать вообще паршивое занятие.

— Да, — согласился Айзек. И добавил спустя долгое время: — Мне все это кажется невозможным.

— Это происходит сплошь и рядом, — отрезала я.

— Ты вроде злая какая-то, — заметил он.

— Да, — ответила я. Мы сидели молча очень долго, что я восприняла с облегчением. Я вспоминала заседание группы поддержки, когда Гас сказал, что боится забвения, а я возразила, что он имеет глупость бояться явления универсального и неизбежного и что проблема не в самих мучениях и не в самом забвении, но в безнравственной бесцельности этих явлений, абсолютно не свойственном человеку нигилизме мучений. Я думала о папе, сказавшем — Вселенная хочет, чтобы ее замечали. Но ведь мы-то хотим, чтобы сама Вселенная нас замечала и чтобы ей было не плевать на то, что с нами происходит, — не с коллективной идеей разумной жизни, а с каждым отдельным индивидуумом.

— Гас тебя по-настоящему любил, — сказал Айзек.

— Я знаю.

— Он говорил об этом не закрывая рта.

— Я знаю, — повторила я.

— Это бесило, как не знаю что.

— Меня это не бесило, — отрезала я.

— Он тебе отдал то, что написал?

— Что он писал?

— Вроде сиквел к книге, которая тебе нравилась.

Я повернулась к Айзеку:

— Что?!

— Он говорил, что работает над чем-то для тебя, но не особо одарен писательским талантом.

— Когда он это говорил?

— Не скажу точно. Вроде вскоре после Амстердама.

— Вспомни, когда именно? — настаивала я. Успел он или не успел закончить сиквел? Или закончил и оставил в своем компьютере?

— Эх, — вздохнул Айзек, — не помню я. Разговор об этом зашел однажды здесь, у меня. Мы играли с моей программой рассылки и-мейлов, я еще от бабки и-мейл получил, могу проверить по приставке, если ты...

— Да-да, где она?

Гас упоминал сиквел месяц назад. Месяц. Не самый легкий для него, но все же целый месяц. Достаточно времени, чтобы написать хоть что-то. От него по-прежнему что-то осталось, пусть не от него, но его авторства. Я хотела это получить.

— Я поехала к нему домой, — сообщила я Айзеку.

Я поспешила к мини-вэну, втащила тележку с баллоном на пассажирское сиденье и завела машину. Из стерео заорал хип-хоп, и, когда я потянулась сменить радиостанцию, кто-то начал читать рэп по-шведски.

Обернувшись, я закричала, увидев на заднем сиденье Питера ван Хутена.

— Хочу извиниться, если напугал, — сказал Питер ван Хутен, перекрывая оглушительный рэп. Он по-прежнему был в своем похоронном костюме, почти неделю спустя. Несло от него так, будто он потел алкоголем. — Можешь оставить себе диск, это Снук, один из основных шведских...

— А-а-а-а, убирайтесь из моей машины! — Я выключила стерео.

— Это машина твоей матери, насколько я понял, — возразил он. — И стояла незапертой.

— О Боже, выходите, или я в «девять-один-один» позвоню! Чувак, да в чем твоя проблема?!

— Если бы только одна, — мечтательно сказал он. — Я здесь, чтобы извиниться. Ты была права, заметив ранее, что я жалкое ничтожество с алкогольной зависимостью. У меня была знакомая, проводившая со мной время лишь потому, что я ей за это платил, но она ушла, и у меня осталась лишь благородная душа, которая не может обзавестись компанией даже за взятку. Все это правда, Хейзел. Это и не только это.

— Ладно, — согласилась я. Речь получилась бы более проникновенной, если бы у ван Хутена не заплетался язык.

— Ты напоминаешь мне Анну.

— Я многим много чего напоминаю, — огрызнулась я. — Мне правда надо ехать!

— Ну так поезжай, — сказал он.

— Выходите.

— Нет. Ты напоминаешь мне об Анне, — повторил он. Через секунду я включила задний ход и выехала на дорогу. Не хочет выходить — не надо, доеду до дома Гаса, пусть Уотерсы ван Хутена выгоняют.

— Ты, конечно, знаешь об Антониетте Мео, — начал ван Хутен.

— Да нет, — бросила я, включая стерео, но ван Хутен орал, заглушая шведский хип-хоп:

— Возможно, скоро она станет самой молодой святой с немученической кончиной, канонизированной католической церковью. У нее был тот же рак, что у мистера Уотерса, остеосаркома. Ей отняли правую ногу. Боли были сильнейшими. Когда Антониетта Мео лежала, умирая в цветущем возрасте шести лет от этого мучительного рака, она сказала своему отцу: «Боль как ткань: чем она сильнее, тем больше ценится». Хейзел, это правда?

Я не обернулась, но посмотрела на него в зеркало заднего вида.

— Нет! — проорала я, перекрывая музыку. — Вранье собачье!

— Но разве тебе не хочется, чтобы это было правдой! — крикнул он. Я выключила проигрыватель. — Прости, что я испортил вам поездку. Вы были слишком юными. Вы

были... — Он оборвал фразу, будто у него было право плакать по Гасу. Ван Хутен не более чем очередной скорбящий, не знавший Гаса при жизни, еще одно запоздалое причитание на его стене в Интернете.

— Ничего вы нам не испортили, не задирайте нос. У нас была прекрасная поездка!

— Я пытаюсь! — сказал он. — Я пытаюсь, клянусь.

Именно в этот момент я поняла, что в семье у Питера ван Хутена тоже был покойник. Я вспомнила честность, с которой он писал о больных раком детях, и тот факт, что он не смог говорить со мной в Амстердаме, не спросив сперва, намеренно ли я оделась, как Анна, и его отвратительное обращение со мной и Огастусом, и этот больной для него вопрос об отношении между силой боли и ее ценностью. Он сидел на заднем сиденье ипил, старый человек, который пьет много лет. Я подумала о статистике, которую лучше бы не знать: половина браков разваливается через год после смерти ребенка. Я оглянулась на ван Хутена. Мы как раз проезжали мой колледж, поэтому я остановилась у припаркованных машин и спросила:

— У вас что, ребенок умер?

— Дочь, — ответил он. — Ей было восемь. Прекрасно страдала. И никогда не будет канонизирована.

— У нее была лейкемия? — спросила я. Он кивнул. — Как у Анны, — добавила я.

— Практически да.

— Вы были женаты?

— Нет. На момент ее смерти уже нет. Я сделался несносен задолго до того, как мы ее потеряли. Горе нас не меняет, Хейзел, оно раскрывает нашу суть.

— Вы жили с ней?

— Нет, сперва нет, хотя в конце мы перевезли ее в Нью-Йорк, где я жил, для серии экспериментальных мучений, отравивших ей дни, но не продливших жизнь.

Через секунду я сказала:

— И вы дали ей эту вторую жизнь, где она была подростком.

— Справедливая оценка, — сказал он и быстро добавил: — Полагаю, тебе знакома проблема мысленного эксперимента с гипотетической вагонеткой Филиппы Фут?[18]

— А потом к вам домой пришла я, одетая девушкой, которой, как вы надеялись, стала бы ваша дочь, и вас ошеломило мое появление?

— Там, понимаешь, вагонетка без управления несется по путям... — начал он.

— Мне неинтересен ваш дурацкий мысленный эксперимент, — перебила я.

— Не мой, Филиппы Фут.

— И ее тоже.

— Она не понимала, почему это происходит, — сказал ван Хутен. — Я вынужден был сказать, что она умирает. Социальный работник говорила, что я обязан ей сказать. Мне пришлось сказать дочери, что она умирает, и я сказал, что она идет в рай. Она спросила, буду ли и я там. Я ответил — пока нет. Ну хоть когда-нибудь, спросила она. И я пообещал, что да, конечно, очень скоро, а пока там о ней будет заботиться прекрасная семья. А дочь все спрашивала меня, когда я там буду, и я отвечал — скоро. Двадцать два года назад.

— Мне очень жаль.



— Мне тоже.

После паузы я спросила:

— А что случилось с ее матерью?

Он улыбнулся:

— Все ждешь свой сиквел, маленькая паршивка?

Я тоже улыбнулась.

— Вам надо ехать домой, — посоветовала я. — Протрезвейте. Напишите новый роман. Делайте то, что у вас хорошо получается. Мало кому к чему-нибудь дается такой талант.

Он смотрел на меня в зеркало долго-долго.

— Ладно, — согласился он. — Да. Ты права. Ты права. — Но, говоря это, он вытащил почти пустую литровую бутылку виски, отпил, завинтил крышечку и открыл дверь. — До свидания, Хейзел.

— Не берите в голову, ван Хутен.

Он уселся на бордюр за машиной. Я посматривала в зеркало, как он уменьшается. Ван Хутен вынул бутылку. Секунду казалось, что он сейчас встанет с бордюра, но он сделал глоток.

День в Индианаполисе выдался жаркий, с густым неподвижным воздухом, будто в середине облака. Худшая для меня погода, но, отправляясь в бесконечный поход от машины до крыльца, я повторяла себе — это всего лишь воздух. Я позвонила. Открыла мать Гаса.

— О-о, Хейзел, — сказала она и, плача, обняла меня.

Она заставила меня съесть немного лазаньи с баклажанами — наверное, теперь много людей приносили им еду и всякую всячину — с ней и отцом Гаса.

— Как ты?

— Мне его не хватает.

— Да.

Я не знала, о чем говорить. Мне хотелось спуститься в подвал и отыскать то, что он писал для меня. К тому же меня угнетала тишина в комнате. Я предпочла бы, чтобы Уотерсы разговаривали между собой, утешали друг друга, держались за руки, но они просто сидели, кушая очень маленькие кусочки лазаньи, не глядя друг на друга.

— Раю нужен ангел, — произнес отец спустя некоторое время.

— Да, — сказала я. Тут пришли его сестры и гурьбой ввалились в кухню племянники. Я встала и обняла Джули и Марту. Дети носились по кухне, внося остро необходимый избыток шума и движения, сталкиваясь радостными молекулами и крича:

— Ты салка, нет, ты салка, нет, я был, но я тебя осалил, нет, не осалил, ты до меня не дотронулся, ну, тогда сейчас салю, нет, тупая задница, сейчас тайм-аут.

— Дэниел, не смей называть брата тупой задницей!

— Мам, а если мне нельзя говорить это слово, почему ты сама только что сказала «тупая задница»? — И они хором начали скандировать: — Задница тупая, задница тупая, задница тупая! — Родители Гаса взялись за руки, и от этого мне стало легче.

— Айзек сказал мне, что Гас что-то писал... для меня, — решила я.

Дети по-прежнему тянули свою песню про тупую ж...

— Можно посмотреть в его компьютере, — предложила его мать.

— Он мало подходил к нему последние недели, — сказала я.

— Это правда. По-моему, мы даже не приносили ноутбук наверх, так и стоит в подвале. Я права, Марк?

— Понятия не имею.

— А тогда можно, — спросила я, — можно... — Я кивнула на дверь в подвал.

— Мы еще не готовы туда спускаться, — признался отец Гаса. — Но ты, конечно, иди, Хейзел. Конечно, иди.

Я сошла вниз мимо его неубранной постели, мимо L-образных игровых стульев. Компьютер так и стоял включенным. Я подвигала мышкой, чтобы его разбудить, и искала файлы, отредактированные позже всего. Ничего за целый месяц. Самым последним было сочинение-отзыв о «Самых синих глазах» Тони Моррисон.

Может, он писал что-то от руки? Я подошла к полкам, высматривая дневник или блокнот. Ничего. Я пролистала «Царский недуг». Он не оставил в книге ни единой пометки.

Я подошла к тумбочке. «Бесконечный Мейхем», девятый сиквел «Цены рассвета», лежал рядом с лампой для чтения, с загнутым углом страницы 138. Так и не дочитал до конца.

— Испорчу тебе удовольствие: Мейхем выжил, — громко сказала я Гасу на случай, если он меня слышит.

Я легла на неубранную кровать и завернулась в его одеяло, как в кокон, окружив себя его запахом. Я вынула канюлю, чтобы острее чувствовать запах, дышать им, упиваться, но запах с каждой секундой становился слабее, в груди жгло на вдохе и выдохе, и вскоре боль уже стала сплошной.

Я села в кровати, снова вставила канюлю и немного подышала, прежде чем подняться наверх. Я покачала головой в ответ на выжидательные взгляды его родителей. Мимо меня пробежали дети. Одна из сестер Гаса — я их не различала — спросила:

— Мам, хочешь, я уведу их в парк?

— Нет-нет, все хорошо.

— Не оставлял ли он где-нибудь записную книжку? Может, в больничной кровати?

Койку уже забрали обратно в хоспис.

— Хейзел, — сказал его отец. — Ты была с нами каждый день. Ты... он мало был один, детка. У него просто не оставалось времени что-нибудь писать. Я знаю, ты хочешь... Я тоже этого хочу. Но послания, которые он нам оставил, теперь идут с неба, Хейзел. — Он показал на потолок, будто Га с летал над домом. Впрочем, может, и летал, я не знаю. Я его присутствия не ощущала.

— Да, — произнесла я и пообещала снова навестить их через несколько дней.

Мне больше никогда не удалось почувствовать его запах.

## Глава 24

Три дня спустя, на одиннадцатый день отрыва от земли, папа Гаса позвонил мне утром. Я еще была подключена к ИВЛ, поэтому не ответила, но прослушала сообщение, едва мобильник пискнул. «Хейзел, здравствуй, это папа Гаса. Я нашел, э-э, черную записную книжку „Молескин“ в газетнице рядом с больничной кроватью — видимо, положил, куда смог дотянуться. К сожалению, в книжке нет записей. Все листки чистые. Первые три или четыре вырваны. Мы обыскали весь дом, но страниц не нашли. Я не знаю, как это понимать. Может, именно об этих листках говорил Айзек? Надеюсь, с тобой все хорошо. Мы молимся за тебя каждый день. Ну, пока».

Три или четыре страницы, вырванные из записной книжки «Молескин», которых нет в доме Огастуса Уотерса. Где бы он их для меня оставил? Приклеил скотчем к Сексуальным костям? Нет, туда он бы уже не доехал.

Буквальное сердце Иисуса. Может, он там что-нибудь оставил в свой Последний хороший день?

На следующий день я отправилась в группу поддержки на двадцать минут раньше. Я заехала за Айзеком, и мы покатали в буквальное сердце Иисуса, опустив стекла мини-вэна и слушая слитый в Интернет новый альбом «Лихорадочного блеска», который Гас никогда не услышит.

Мы спустились на лифте. Я подвела Айзека к стулу в кружке доверия и медленно обошла

Буквальное сердце, проверяя повсюду: под стульями, вокруг конторки, за которой я стояла, читая надгробное слово, под столом с печеньем и лимонадом, на доске объявлений с развешанными рисунками учеников воскресной школы, изобразивших любовь Господню. Ничего. Это единственное место, где мы были вместе в последние дни, помимо дома, и либо листков здесь нет, либо я что-то упускаю. Возможно, он оставил их мне в больнице, но в таком случае их почти наверняка уже выбросили.

Совершенно запыхавшись, я села рядом с Айзеком, обреченно слушая полную историю безъязкости Патрика и убеждая легкие, что с ними все в порядке, они могут дышать и здесь достаточно кислорода. Дренаж мне делали всего за неделю до смерти Гаса — я видела, как янтарный раковый экссудат часто-часто капает из меня через трубку, но легкие уже снова казались полными. Я так сосредоточилась на уговорах своего организма, что не сразу заметила, как Патрик произнес мое имя.

Внимание переключилось, и я спросила:

— Да?

— Как ты?

— Нормально, Патрик. Запыхалась немного.

— Ты не хочешь поделиться с группой воспоминаниями об Огастусе?

— Я хочу просто умереть, Патрик. Ты когда-нибудь хотел просто умереть?

— Да, — ответил Патрик без своей обычной паузы. — Да, конечно. Что же тебя удерживает?

Я подумала. У меня был старый готовый ответ — я живу ради родителей, потому что они будут убиты горем и останутся бездетными. Это по-прежнему оставалось своего рода правдой, но не всей и не настоящей.

— Не знаю.

— Надеешься, что тебе станет лучше?

— Нет, — ответила я. — Не поэтому. Я правда не знаю. Айзек? — спросила я. Я действительно устала говорить.

Айзек заговорил об истинной любви. Я не могла сказать, что я думаю, потому что мне самой это казалось фальшивым, а думала я о том, что Вселенная хочет, чтобы ее заметили, и я должна замечать ее как можно лучше. Я чувствовала, что должна этой Вселенной и могу оплатить этот долг лишь своим вниманием. Я в долгу перед каждым, кто уже перестал быть человеком, и перед всеми, кто еще не стал человеком. Что мой папа мне и сказал, если разобраться.

Остаток заседания группы поддержки я молчала. Патрик отдельно помолился за меня, имя Гаса затолкали в длинный список покойников — по четырнадцать на каждого из нас, мы обещали прожить сегодня как лучший в жизни день, и затем я повела Айзека в машину.

Когда я приехала, мама с папой сидели за обеденным столом за своими ноутбуками. Едва я вошла, мама резко закрыла свой.

— Что у тебя там?

— О, всего лишь разные рецепты антиоксидантов. Ну что, ИВЛ и «Новая американская топ-модель»? — спросила она.

— Я пойду полежу.

— Ты в порядке?

— Да, устала просто.

— Ты должна поесть, прежде чем...

— Мама, я категорически не голодна. — Я сделала шаг к двери, но мать меня остановила:

— Хейзел, ты должна есть. Всего несколько...

— Нет, я пойду спать.

— Нет, — запротестовала мама. — Не пойдешь.

Я посмотрела на папу. Он пожал плечами.

— Это моя жизнь, — напомнила я.

— Ты не заморишь себя голодом, потому что Огастус умер. Ты сядешь и съешь ужин.

Я отчего-то вдруг разозлилась:

— Я не могу есть, мам. Не могу, ясно?

Я попыталась пройти мимо, но мама схватила меня за плечи и сказала:

— Хейзел, ты будешь есть. Тебе нужно оставаться здоровой.

— Нет! — закричала я. — Я не буду ужинать и не могу остаться здоровой, потому что я не



здорова. Я умираю, мама! Я умру и оставлю вас одних, и у тебя не будет над кем кудахтать, и больше тебя никто не назовет мамой! Мне очень жаль, но я ничего не могу с этим поделать, ясно?!

Я пожалела о сказанном, едва договорив.

— Ты меня слышала...

— Что?

— Ты слышала, что я тогда сказала твоему отцу. — Ее глаза увлажнились. — Слышала? — Я кивнула. — О Боже, Хейзел, прости меня, детка, я была не права. Это неправда. Я сказала это в минуту отчаяния. Я сама в это не верю. — Мама села, и я присела рядом, запоздало жалея, что попросту не выблевала съеденную пасту вместо того, чтобы злиться.

— Во что же ты веришь в таком случае? — спросила я.

— Пока кто-то из нас жив, я буду твоей мамой, — ответила она. — Даже если ты умрешь, я...

— Когда, — поправила я.

Она кивнула.

— Даже когда ты умрешь, я все равно буду твоей мамой, Хейзел. Я не перестану быть твоей мамой. Разве ты перестала любить Гаса? — Я покачала головой. — Как же я перестану любить тебя?

— Ладно, — ответила я. Папа уже плакал.

— Я хочу, чтобы у вас была своя жизнь, — сказала я. — Меня беспокоит, что у вас не будет

жизни и вы целыми днями будете сидеть здесь без меня, объекта для заботы, смотреть в стенку и желать себе смерти.

Через минуту мама сказала:

— Я учусь онлайн в университете Индианы. Хочу получить магистерский диплом по социальной работе. Я не искала рецепты антиоксиданта. Я писала контрольную.

— Правда?

— Я не хотела, чтобы ты подумала, будто я планирую жизнь после тебя. Но если я сдам на магистра, я смогу консультировать семьи, переживающие кризис, или вести группы людей, у которых в семье случился рак, или...

— Стоп, ты что, станешь Патриком?

— Не совсем. Есть разные виды социальной работы.

Папа сказал:

— Мы оба беспокоимся, чтобы ты не чувствовала себя покинутой. Мы всегда будем рядом, Хейзел. Мама никуда не уйдет.

— Но это же отлично! Как хорошо! — Я искренне улыбалась. — Мама станет Патриком. Из нее выйдет замечательный Патрик! Она будет в сто раз лучше Патрика!

— Спасибо, Хейзел. Для меня твое мнение решает все.

Я кивнула, плача. Не в силах вынести искреннее счастье, я впервые за целую вечность плакала от радости, представляя маму в роли Патрика. Я невольно подумала о матери Анны — из нее тоже вышел бы хороший социальный работник.

Через некоторое время мы включили телевизор и начали смотреть «Топ-модель по-американски», но через пять секунд я нажала паузу, потому что меня распирала вопросы.

— А сколько тебе осталось до диплома?

— Если этим летом я на неделю выберусь в Блумингтон, то к декабрю закончу.

— Сколько же времени ты от меня это скрываешь?

— Год.

— Мама!

— Я боялась задеть твои чувства, Хейзел.

Великолепно.

— Значит, когда ты ждала меня у колледжа или с группы поддержки, ты всякий раз...

— Да, работала или читала.

— Как здорово! Если я умру, знай, я буду шумно вздыхать в раю всякий раз, как ты попросишь кого-нибудь поделиться своими чувствами.

Папа засмеялся.

— Я буду там с тобой, детка, — заверил он меня.

Наконец мы стали смотреть «Топ-модель». Папа изо всех сил старался не умереть от скуки и путал, кто из девушек кто, часто спрашивая:

— Она нам нравится?

— Нет, нет, — отвечала мама. — Анастейшу мы не любим. Нам нравится Антония, другая блондинка.

— Да они все высокие и ужасные, — отозвался папа. — Извини, что не отличаю одну от другой. — Папа потянулся через меня и взял маму за руку.

— Слушайте, вы останетесь вместе, если я умру? — спросила я.

— Хейзел, что? Детка, — мама нащупала пульт и снова нажала паузу, — что случилось?

— Просто спрашиваю, вы останетесь вместе?

— Да, конечно. Конечно, — ответил папа. — Мы с твоей мамой любим друг друга, и если мы потеряем тебя, мы пройдем через это вместе.

— Поклянись Богом, — потребовала я.

— Клянусь Богом, — произнес папа.

Я посмотрела на маму.

— Клянусь Богом, — повторила она. — А почему ты вообще об этом волнуешься?

— Не хочу разрушить вашу жизнь.

Мама нагнулась, прижалась лицом к моим всклокоченным волосам и поцеловала в макушку.  
Я сказала папе:

— Я не хочу, чтобы ты превратился в жалкого спившегося безработного.

Мама улыбнулась:

— Твой папа не Питер ван Хутен, Хейзел. Уж ты-то лучше других знаешь, что можно жить и с болью.

— Ладно, — сказала я. Мама обняла меня, и я не сопротивлялась, хотя и не хотела, чтобы меня обнимали. — Окей, нажми уже на паузу еще раз.

Я съела несколько вилок ужина — макароны в виде галстука-бабочки с соусом песто — и смогла удержать пищу внутри.

## Глава 25

На следующее утро я проснулась в ужасе — мне приснилось, что я оказалась посредине огромного озера. Я резко села в кровати, натянув трубку ИВЛ, и почувствовала на себе мамину руку.

— Хейзел, ты что? — Сердце у меня сильно билось, но я кивнула в том смысле, что все в порядке. Мама сказала: — Тебе звонит Кейтлин.

Я показала на маску ИВЛ. Мама помогла ее отстегнуть, надела мне канюлю от Филиппа, и наконец я взяла у нее мой сотовый:

— Привет, Кейтлин.

— Я звоню узнать, как ты, — сказала она. — Как у тебя дела?

— Спасибо, — ответила я. — Дела нормально.

— Тебе страшно не повезло, дорогая. Ты пережила непомерную несправедливость.

— Да, наверное, — согласилась я. Я мало думаю о своем везенье или невезенье. Мне совершенно не хотелось говорить с Кейтлин, но она затягивала разговор.

— Слушай, а как это? — спросила она.

— Когда умирает твой бойфренд? Это паршиво.

— Нет, — уточнила Кейтлин. — Быть влюбленной?

— О-о, — выдохнула я. — Это... Мне было очень приятно общаться с таким интересным человеком. Мы были очень разными, спорили о многих вещах, но он всегда был очень интересным, понимаешь?

— Увы, нет. Парни, с которыми знакомлюсь я, чудовищно неинтересны.

— Он не был совершенством. Он не был идеальным. Он не был сказочным принцем. Временами старался походить на принца, но мне он больше нравился, когда с него слетала эта шелуха.

— У тебя есть альбом его снимков и писем?

— Несколько снимков есть, но писем он мне никогда не писал. Правда, в его блокноте отсутствует несколько страниц, там могло быть что-то для меня, но, по-моему, он их выбросил или они потерялись.

— Может, он сбросил их тебе по электронке?

— Нет, уже давно бы все пришло.

— Тогда, может, они были написаны не для тебя, — предположила Кейтлин. — Что, если... Я говорю не для того, чтобы испортить тебе настроение, но что, если он написал их кому-то другому и переслал по электронной почте...

— Ван Хутен! — закричала я.

— Ты чего? Это ты так кашляешь?

— Кейтлин, ты чудо. Ты гений! Мне пора.

Я нажала отбой, перекадилась на кровати, достала ноутбук, включила его и написала Лидевью Влигентхарт.

Лидевью!

Я считаю, что Огастус Уотерс переслал несколько страниц из записной книжки Питеру ван Хутену незадолго до своей смерти. Мне очень важно, чтобы кто-нибудь их прочел. Я,

конечно, тоже хочу прочесть, но, возможно, они написаны не для меня. Тем не менее эти страницы надо найти. Обязательно надо. Вы можете мне помочь?

Ваш друг Хейзел Грейс Ланкастер.

Лидевью ответила через несколько часов.

Дорогая Хейзел!

Я не знала, что Огастус умер, и очень опечалена этой новостью. Такой харизматичный молодой человек! Мне крайне жаль, скорблю вместе с вами.

Я не говорила с Питером со дня своего увольнения, мы с вами еще тогда ходили в музей. Сейчас у нас глубокая ночь, но с утра я первым делом поеду к нему домой, найду это письмо и заставлю Питера его прочитать. Обычно утром с ним еще вполне можно разговаривать.

Ваш друг Лидевью Влигентхарт.

.S. Захватчу с собой бойфренда на случай, если Питера придется физически удерживать.

Я гадала, почему в свои последние дни Огастус писал не мне, а ван Хутену, упирая на то, что ван Хутен будет прощен, если передаст мне сиквел. Может, страницы из записной книжки содержат лишь повтор его настойчивой просьбы? Не исключено. Свою неизлечимость Гас вложил в осуществление моей мечты; вряд ли стоит умирать ради сиквела, но это самое большее, что оставалось в его распоряжении.



Я постоянно обновляла почту, потом поспала несколько часов и в пять утра снова начала обновлять, но писем не было. Я пробовала смотреть телевизор, но мыслями то и дело возвращалась в Амстердам, представляя, как Лидевью Влигентхарт и ее бойфренд едут на велосипедах через весь город с безумной миссией — найти последнее письмо мертвого юноши. Как хорошо было бы подсакивать на багажнике позади Лидевью Влигентхарт на мощеных улицах, и чтобы ее кудрявые рыжие волосы отдувало ветром мне в лицо, а на улицах пахло бы водой из каналов и сигаретным дымом, и люди сидели бы в уличных кафе за кружкой пива, произнося «р» и «дж» так, как мне никогда не выучиться.

Мне не хватало... будущего. Конечно, я и до его рецидива понимала, что мне не суждено состариться с Огастусом Уотерсом. Но, думая о Лидевью и ее бойфренде, я чувствовала себя ограбленной. Я, наверное, никогда больше не увижу океан с высоты тридцать тысяч футов; с такого расстояния нельзя различить волны или лодки, и океан кажется безбрежным монолитом. Я могу его представить. Я могу его помнить. Но я не увижу его снова, и мне пришло в голову, что ненасытное людское честолюбие никогда не удовлетворится сбывшимися мечтами: всегда кажется, что все можно сделать лучше и заново.

Наверное, так и будет, даже если дожить до девяноста, хотя я завидую тем, кому повезет проверить это лично. С другой стороны, я уже прожила вдвое больше, чем дочь ван Хутена. Ему не суждено было иметь ребенка, который умрет в шестнадцать.

Неожиданно мама встала между мной и телевизором, держа руки за спиной.

— Хейзел, — сказала она так серьезно, что я испугалась — что-то случилось.

— Да?

— Ты знаешь, какой сегодня день?

— Мой день рождения?

Она засмеялась:

— Еще нет. Сегодня четырнадцатое июля, Хейзел.

— Твой день рождения?

— Нет.

— День рождения Гарри Гудини?

— Нет.

— Все, я устала гадать.

— Сегодня же день взятия Бастилии! — Она развела руки в стороны и с энтузиазмом замахала двумя маленькими французскими флагами.

— Фикция какая-то, вроде Дня профилактики холеры.

— Уверю тебя, Хейзел, во взятии Бастилии нет ничего фиктивного. Да будет тебе известно, что двести двадцать три года назад народ Франции ворвался в тюрьму Бастилию, чтобы добыть себе оружие и сражаться за свободу.

— Вау, — обрадовалась я. — Надо отпраздновать эту исключительно важную дату.

— Так получилось, что я только что договорилась о пикнике в Холидей-парке с твоим отцом.

Она никогда не успокоится, моя мама. Я оттолкнулась от дивана и встала. Вместе мы кое-как нарезали толстых сэндвичей и извлекли из чулана в коридоре пыльную корзину для пикников.

День по местным меркам был прекрасный. Наконец-то в Индианаполис пришло настоящее лето, теплое и влажное, — такая погода после долгой зимы напоминает, что мир создавался не для людей, это люди созданы для мира. Папа нас уже ждал в светло-коричневом костюме, стоя на парковочном месте для инвалидов и что-то печатая на карманном компьютере. Он помахал нам, когда мы парковались, и обнял меня.

— Вот это погода, — сказал он. — Живи мы в Калифорнии, каждый день такое бы видели.

— Ну и надоели бы нам сразу погожие дни, — возразила мама. Она была не права, но поправлять я не стала.

Мы расстелили одеяло у Развалин — странного прямоугольного сооружения, изображавшего развалины Рима, ляпнутого посреди Индианаполиса. Не настоящие развалины, а этакое скульптурное воссоздание. Построенные восемьдесят лет назад, Развалины от небрежного отношения и запустения превратились в настоящие развалины. Ван Хутену бы понравилось. И Гасу тоже.

В тени Развалин мы съели скромный ленч.

— Тебе дать крем от солнца? — спросила мама.

— Не надо, — ответила я.

Ветер шелестел листвой и приносил с игровой площадки вопли детей, разгадавших тайну, как быть живыми, как ориентироваться в мире, созданном не для них, в пределах игровой площадки, созданной для них. Папа перехватил мой взгляд и спросил:

— Тебе обидно, что ты не можешь так резвиться?

— Иногда, пожалуй.

Но думала я не об этом. Я старалась все замечать: игру света на обветшавших Развалинах, едва научившегося ходить карапуза, обнаружившего палочку в углу детской площадки, мою неутомимую мать, чертившую зигзаги горчицы на сэндвиче с индейкой, папу, убравшего в карман карманный компьютер и сдерживающего желание его достать, парня, бросающего фрисби своей собаке, которая в сотый раз бежит почти наравне с пластмассовой тарелкой, перехватывает ее и приносит.

Кто я такая, чтобы утверждать, что все это не навсегда? Кто такой Питер ван Хутен, чтобы заявлять как факт гипотезу, что любые наши усилия тщетны? Все, что я знаю о рае, и все, что я знаю о смерти, здесь, в этом парке: элегантная вселенная в непрерывном движении, изобилующая руинами и шумными детьми.

Папа помахал ладонью у меня перед глазами.

— Хейзел, проснись! Ты где?

— А, да, что?

— Мама предложила съездить к Гасу.

— Давайте, конечно, — сказала я.

Поэтому после ленча мы отправились на кладбище Краун-Хилл, последнее пристанище трех вице-президентов, одного президента и Огастуса Уотерса. Мы подъехали к холму и остановились. Сзади, по Тридцать восьмой улице, проносились машины. Найти могилу Гаса оказалось легко — она была самой свежей. Земля над гробом еще не осела. Могильного камня пока не поставили.

Я не чувствовала, что он вот здесь, но все-таки взяла один из маминых дурацких французских флажков и воткнула в землю в изножье могилы. Может, случайный прохожий подумает, что Гас был членом французского Иностранного легиона или другого

героического наемного войска.

Лидевью ответила в седьмом часу, когда я на диване смотрела одновременно и телевизор, и видео на ноутбуке. Я сразу увидела четыре приложения к и-мейлу и захотела их открыть, но переборола искушение и прочитала письмо.

Дорогая Хейзел!

Питер был уже под сильным воздействием алкоголя, когда утром мы приехали к нему домой, но это отчасти облегчило дело. Бас (мой бойфренд) отвлекал его, пока я перебирала содержимое мусорных пакетов, в которых Питер имеет обыкновение держать почту поклонников. Но я тут вспомнила, что Огастус знал домашний адрес Питера. На обеденном столе высилась большая стопка почты, где я очень быстро нашла письмо. Я открыла его, увидела, что оно адресовано Питеру, и попросила прочитать.

Он отказался.

Я очень разозлилась в тот момент, Хейзел, но кричать на Питера не стала. Я сказала ему, что он обязан ради своей покойной дочери прочитать письмо покойного юноши, и дала ему письмо. Он прочел его от начала до конца и сказал, цитирую: «Перешлите это девчонке и скажите, что мне нечего добавить».

Я не читала письма, хотя и видела некоторые фразы, пока сканировала листки. Прикрепляю сканы здесь, а странички вышлю тебе почтой. Твой адрес прежний?

Благослови и храни тебя Бог, Хейзел.

Твой друг Лидевью Влигентхарт.

Я быстро открыла четыре приложения. Его почерк был неряшлив, с сильным наклоном, буквы отличались по размеру и цвету. Гас много дней писал это разными ручками и в разной степени сознания.

Ван Хутен!

Я хороший человек, но дерьмовый писатель. Вы дерьмовый человек, но хороший писатель. Из нас получится отличная команда. Я не желаю у вас одалживаться, но если у вас есть время — а насколько я видел, времени у вас хоть отбавляй, — хочу поинтересоваться, не напишете ли вы надгробное слово для Хейзел? У меня есть записки и наброски, так не могли бы вы соединить отрывки в нечто связное, как-то обработать или даже просто сказать мне, где я должен выразиться иначе?

С Хейзел дело вот в чем. Почти каждый одержим идеей оставить свой след в истории. Завещать наследство. Остаться в памяти. Все мы хотим, чтобы нас помнили. Я не исключение. Меньше всего на свете я хочу стать очередной забытой жертвой в древней и бесславной войне с раком.

Я хочу оставить свой след.

Но, ван Хутен, следы, которые оставляют люди, часто оказываются шрамами. Строишь огромный мини-молл, или совершаешь государственный переворот, или пытаешься стать рок-звездой и думаешь: «Теперь меня запомнят», но а) тебя не помнят и б) все, что после тебя осталось, напоминает безобразные шрамы. Переворот оборачивается диктатурой, мини-молл оказывается убыточным.

(Может, я и не совсем дерьмовый писака, но я не умею связно излагать, ван Хутен. Мои мысли — звезды, которые я не способен объединить в созвездия.)

Мы подобны своре псов, мочащихся на пожарные гидранты. Мы отравляем грунтовые воды нашей ядовитой мочой, метим все как собственность в нелепой попытке пережить собственную смерть. Я не могу перестать мочиться на пожарные гидранты. Я знаю, что это глупо и бесполезно — эпически бесполезно в моем теперешнем состоянии, — но я животное, как все остальные.

Хейзел иная. У нее легкая походка, старик. Она легко ступает по земле. Хейзел знает истину: у нас столько же возможности навредить Вселенной, как и помочь ей, причем маловероятно, чтобы нам удалось первое или второе.

Люди говорят — жаль, что она оставит после себя не такой масштабный шрам и немногие будут ее помнить, что ее любили хоть и глубоко, но недолго. Но это не печаль, ван Хутен. Это торжество. Это героика. Разве не в этом подлинный героизм? Как там в клятве Гиппократа, первая заповедь — не навреди?

Настоящие герои — это не те, кто действует; настоящие герои — это те, кто все замечает. Тип, придумавший прививку от оспы, на самом деле ничего не изобретал. Он просто заметил, что люди, перенесшие коровью оспу, не болеют настоящей.

Спавившись на позитронном сканировании, я тайком пробрался в палату интенсивной терапии и увидел Хейзел, когда она лежала без сознания. Я прошел за спиной медсестры с бейджем, и добрых десять минут меня не замечали. Я думал, что она умрет, и я не успею ей сказать, что я тоже умираю. Это было невыносимо: несмолкаемые механические звуки приборов в интенсивной терапии. Из ее груди капала эта темная раковая жидкость. Глаза закрыты. Интубирована. Но рука по-прежнему была ее рукой, теплой, с ногтями, покрытыми темно-синим, почти черным лаком, и я держал ее за руку, пытаюсь представить себе мир без нас, и на секунду во мне, таком порядочном, родилась надежда, что Хейзел умрет, не узнав, что я тоже умираю. Но я тут же захотел, чтобы она еще пожила и мы успели влюбиться. Полагаю, я реализовал свое желание. Оставил мой шрам.

Вошел медбрат и велел мне выйти, потому что посетителям сюда нельзя. Я спросил, каков прогноз, и он сказал: «Пока отек продолжается». Вода. Благословение пустыни, проклятие океана.

Что еще? Она такая красивая. На нее невозможно наглядеться. Не нужно волноваться, что она умнее меня: я и так знаю, что умнее. Она забавная и никогда не бывает злой. Я люблю ее. Мне так повезло, что я люблю ее, ван Хутен. В этом мире мы не выбираем, будет нам больно или нет, старик, но вы умеете сказать пару слов тому, кто делает нам больно. Я своим выбором доволен. Надеюсь, она тоже.

Правильно надеешься, Огастус.

Так и есть.

Автор хотел бы поблагодарить:

Рак и его лечение, с которым я весьма вольно обошелся в романе. Фаланксифора, например, не существует. Я его придумал — хочу, чтобы появилось такое лекарство. Всякий, желающий ознакомиться с подлинной историей рака, должен прочитать книгу «Царь всех болезней» Сиддхартхи Мукерджи. Еще я многим обязан «Биологии рака» Роберта А. Уайнберга, а также Джошу Сандквисту, Маршаллу Уристу и Джоннеке Холландерсу, которые выбрали время поделиться со мной своими знаниями в медицинских вопросах. Полученные сведения я радостно игнорировал, когда мне этого хотелось.

Эстер Эрл, чья жизнь стала подарком мне и многим другим. Я благодарен семье Эрл — Лори, Уэйну, Эбби, Энджи, Грэму и Эйбу — за отзывчивость и дружбу. В память Эстер семья Эрлов основала некоммерческий фонд «Эта звезда не погаснет». Подробнее об этом можно узнать на [tswgo.org](http://tswgo.org).

Голландскую литературную ассоциацию за возможность два месяца писать в Амстердаме. Особая благодарность Флёр ван Копен, Джин Кристоф Боул ван Хенсброк, Жаннетте де Уит, Карлин ван Равенштейн, Маргье Шеепсма и голландскому обществу воинствующих интеллектуалов.



Моего редактора и издателя Джули Страусс-Гейбел, выдержавшую многолетние перипетии с этим романом, и замечательное издательство «Пенгуин». Спасибо Розанне Лауэр, Деборе Каплан, Лизе Каплан, Элис Маршалл, Стиву Мелцеру, Нове Рен Сума и Айрин Вандервоорт.

Айлин Купер, мою наставницу и добрую фею-крестную.

Моего агента Джоди Ример, чьи мудрые советы спасли меня от бесчисленных бед.

Воинствующих интеллектуалов за класс и шик.

Кэтитюд за желание, чтобы мир без нее ни много ни мало стал хуже.

Брата Хэнка, лучшего друга и самого близкого компаньона.

Супругу Сару, не только любовь всей моей жизни, но и первую и самую доверенную мою читательницу. Малыша Генри, которому она дала жизнь. Моих родителей, Майка и Сидни Грин, и родителей жены, Маршалла и Конни Уристов.

Моих друзей Криса и Мартину Уотерс, помогавших мне с романом в самые важные моменты, а также Джоэллена Хослера, Шэннона Джеймса, Ви Харта, блестящего знатока диаграммы Венна Карен Каверт, Валери Барр, Розианну Хальс Ройас и Джона Дарниэлла.

\* \* \*

## Примечания

Радиоизотопное исследование. — Здесь и далее примеч. пер.

Центральный венозный катетер.

От лат. Augustus — величественный.

Название книги ван Хутена «Imperial Affliction» многозначно: его можно перевести как «Царский недуг» (аллюзия на редкое заболевание крови Анны), как «Царственная скорбь» или даже как «Высшее страдание».

Болезненный спазм жевательной мускулатуры.

Герои пьесы С. Беккета «В ожидании Годо».

У. Шекспир. Юлий Цезарь. Пер. П. Козлова.

Перевод В. Брюсова.

Наркотик фенциклидин.

«Любовная песня Дж. Альфреда Пруфрока» Т.С. Элиота.

Глаза доктора Эклбурга в романе Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» — это заброшенный рекламный щит с изображением огромных глаз — рекламой врача-окулиста. Глядя на эти глаза, герой романа проникается убеждением, что «Господь все видит», и решает убить Гэтсби.

Герой романа Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

Отрывок из стихотворения У. Стивенса «Тринадцать способов увидеть черного дрозда».

Прием Геймлиха (резкое нажатие под диафрагму) применяется для удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.

Те. от человека (речь идет о философском антропном принципе участия — Д. Уилер.  
Наблюдатели необходимы для обретения Вселенной бытия).

Клетка происходит только от клетки (лат.).

Занято (исп.).



Американская исследовательница Филиппа Фут в 1967 году первой предложила этическую проблему на примере вагонетки, несущейся на играющих на рельсах детей, которую можно перевести на другой путь, где играет только один ребенок.